

Алексей Мельников

12+



# Адреса памяти

Очерки и рассказы

# Алексей Мельников

## Адреса памяти

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63916786](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63916786)*

*SelfPub; 2021*

### Аннотация

Книга очерков и рассказов, связанных между собой одной сквозной нитью – памяти. Той, что не уходит насовсем, а остаётся в жизни навсегда, отмечая главные реперные точки судьбы... Первые шаги по земле в далёкой Германии. Детство у балтийских берегов и в глухих тамбовских селениях. Школьные коридоры, по которым ещё ходил Циолковский. Нечаянная встреча с первым астронавтом, ступившим на Луну. Слезы на лекции в МИСиСе в день смерти Брежнева. Жаркие будни у дымящих литейных печей. Странствия с путейцами по дальним железнодорожным околоткам. Журналистская кухня с уроками публицистики у таких мастеров, как Отто Лацис и Игорь Бабичев... И – постоянное присутствие в адресной книге жизни множества литературных адресов. Подчас неожиданно становящихся адресами собственными. Как это, например, произошло у автора в историях встречи с творчеством Ивана Тургенева, Константина Паустовского, Николая Панченко, Ильи Сельвинского, Бориса Слуцкого, Владимира Кобликова, Сергея Сергеева-Ценского...

# Содержание

К имени своему...	5
Мы из Осо	11
Электричка в Монтекатини	18
Саша и Аркаша	22
«И чтоб чрез смертья возвратился...»	25
Скамеечка	31
Переулками вечности	34
Забытые «Незабудки»	39
Нигде и никогда	45
Полуостров	50
Космос нашего детства	55
Лыжи нашего детства	60
Мой дед не читал Сэлинджера	64
Авангард на улице Кая Брута	69
На Николу	72
Оптинские стансы	76
Лацис	83
Школа игры на аккордеоне	88
Сашичка	92
Эй, на каре!	99
Мелодия Кобликова	104
Мой Паустовский	115
Неуценённый Ценский	118

Лёва	123
«Жить в горячих сердцах...»	129
Солнечная	137
Конспект студента МИСиС	142
На плетях	154
Рост кристаллов	160
Здравствуйте, Хайдеггер!	164
Непримиримые	168
Однажды в Тарусе...	172
Марсель Пруст из Перемышля	181
Молитва путейца	185
Медогонка	192
Восстание против смерти	196
Раздевалка	200
Певец неволи	205
Человек с Луны	211
Евангелие от Исаковского	215
«Я, плача, праздную победу...»	222
Переулки Пятигорского	228
Без Надежды	232
Из Хоревки – в Тургеневку	237
Декарт и русский пролетарий	244
Кёнигсберг	251

# Алексей Мельников

## Адреса памяти

### К имени своему...

Мы приехали сюда полвека назад. На такси. Вчетвером. С Киевского вокзала. За 23 рубля. Деньги немалые. «Волга» была 21-я. Та, что с оленем на капоте. Багажник большой – это ее главный плюс. У нас была куча неподъемных чемоданов. Громоздких, с щелкающими замками и тугими стяжками на боках. С ними в электричку – никак. Дежурный скарб офицерской семьи. Мы тащили его с прежнего места службы отца – из промозглого и засаженного каштанами Калининграда.

Оба города начинались одинаково. А с четвертой буквы их грамматические траектории расходились. Хотя и первоначальное их слияние выглядело случайным. Города не походили друг на друга, как приемные дети на неродного отца. Просоленный всеми морскими ветрами, вырванный с корнем из истории и вновь воткнутый в нее бетонно-каменный Кенигсберг – Калининград. И – спрятавшаяся за сосновым бором, петляющей Окой и резными ставнями старокупеческая деревянная Калуга.

Улица была Революции 1905 года. Хотя никаких революций в городе отродясь не бывало. Разве что неудавшаяся – Ивана Болотникова. Впрочем, когда погибли космонавты, ее переименовали – в Добровольского. Она пересекалась с – Циолковского. А та – с Королева. Ну, а та – с Гагарина. Мещанский город рвался в космос. Точнее – его туда усиленно толкали. Посреди космических улиц была школа. В ней преподавал Константин Эдуардович. А позже – Любовь Васильевна. Я оказался в ее классе на четвертой парте в третьем ряду. Она научила меня читать и писать. Потом научила мою жену обучать тому же самому таких же, как я тогда, первоклашек.

Возможно... Да, нет – даже наверняка мы сидели в тех же классах, где крутил на уроках физики свою динамо-машину полуглухой Циолковский. Кто знает – может, за теми же самыми партами. Они были старые, покатые, с откидывающимися досками и приделанными скамейками. На верху столешниц красовались дырки для чернильниц. Вдоль ползли длинные углубления для гусиных перьев. Дедушка космонавтики мог бы присаживаться за такую и объяснять очередной недотепистой гимназистке (а в ту пору здесь учились только барышни) закон Кулона.

В школе была Ленинская комната. Хотя Ильич у нас не преподавал. А вот комнаты Циолковского почему-то не было. Наверное, туго было с помещениями – школа занималась в две смены. На втором этаже – светлый актовый зал, выхо-

дивший на Гагарина. Тесная учительская – окнами на Королева. Стрелковый тир – где-то в подземелье. И особая достопримечательность – развешанные по стенам большущей кладовой старые мятые трубы пожарного оркестра. Наверное, еще царских времен. Оркестр торжественно молчал и за всю историю школы, по-моему, не издал ни звука.

Рядом со школой останавливался троллейбус. Я любил на нем ездить. Да беда – некуда: родители снимали квартиру рядом. В третьей по счету пятиэтажке на весь район. Все остальное было деревянное и одноэтажное. Каменными были еще больница и обелиск нашего школьного учителя на его могиле. В парке, носящем его же имя. Там росли липы. Между ними мы гоняли в футбол и ловили майских жуков детскими сачками.

Низом текла Яченка. Она впадала в Оку и помнила на себе зачарованный взгляд Гоголя. Изредка Николай Васильевич столовался здесь, у Смирновой-Россет. Читал ей свои книжки. Кто это – мы не знали. В ту пору больше звучала фамилия Кандренкова – маленького человека в шляпе, помахивавшего этой шляпой с переносной трибуны в Первомайские праздники и на 7 ноября. Он просидел в Калуге гораздо дольше Александры Осиповны. За что удостоился мемориальной доски на здании бывшего обкома. Смирновой-Россет никакой доски не было.

Город был старый. С характером. Его еще называли купеческим. То есть... Впрочем, понимаете, как вам будет угод-

но. У одного одноклассника бабка все время продавала какие-то пучки и соленья рядом с остановкой. Прилюдно. За него было стыдно. Он был коренной. Другой – тоже с корнями: мощные дубовые ворота к просторному дому и саду. Играть разрешалось только перед воротами. В саду было много яблонь. Поэтому туда детей не пускали. В дом – тоже.

Главная улица в городе была имени Кирова. Бронзовый Сергей Миронович в хромовых сапогах внимательно поглядывал с постамента на окружающих. Видимо, изучал, поскольку появился впервые здесь только в качестве монумента. Потом его перенесут и поменяют на бронзового городского с бляхой. И тоже в сапогах. И также пристально всматривающегося, но уже не в прохожих, а такую же, как он, забронзовевшую калужскую дворнягу.

Вообще в городе любят глазеть на проходящих. Рассматривать чужие лица. Что-то в них искать. Уверен: недостатки. В иных местах любопытство щадящее. Здесь – карающее. К нему надо было привыкнуть. В туристических проспектах об этой особенности местного населения ничего не говорят. Хотя, мне кажется, тот же чужестранец Циолковский мог бы многое об этом поведать. Что он, впрочем, и сделал. И даже написал. Но кто же будет читать Циолковского в Калуге?..

После космоса в городе на втором месте значились проходы зимы. Туда ходили семьями. В парк с каруселями. Под стены Троицкого собора, одно время служившего боксерским рингом. Драться подушками, прыгать в мешках и есть



пирожки с морковкой по три копейки за штуку. Мужики раздевались до трусов и лезли на столб за самоваром с гармошкой. Часто – гуськом. Потому что – выпивши. И опадали сверху разом, точно горошины из переспелого стручка. Было смешно, но не весело.

Старый город усиленно ломали. Строили жилье для военных заводов. Строили много. Наверное, потому, что к войне готовились всерьез. Требовались моторы для танков, турбины для субмарин и релюшки для уазиков. Старые деревянные дома этому мешали. Некоторые заваливались сами. Их подпирали столбами. Образовывались арки, под которыми приходилось идти, нагнувшись.

По необмелевшей Оке ходила «Заря». Пахала водную гладь и швыряла волны на прибрежные кусты. В них прятались лягушки и ящики для моторных лодок. А в тех – моторы. Тысячи штук вдоль речного берега. Калуга любила ездить на моторках. Взад-вперед. Туда – назад. На бортах всех местных «Казанок» белели загадочные буквы – ФЖО. Я никогда не мог их расшифровать.

Вскоре вода в реке упала. Моторки исчезли. «Зари» не стало. Ока покрылась проплешинами отмелей. Рыбаки из лодок перелезли в сапоги и встали с удочками. Но что случилось при этом с рыбой – неизвестно. Я – не рыбак. Скорей – грибник. В городе это означало – взять штурмом ферзиковский дизель около шести утра. И ехать все равно куда. Потому что грибов в сезон везде навалом. Лучше – до Переру-

шева. Там на путях – десятки старых паровозов. «На случай войны», – шептали знающие. «Кого с кем?» Короче, вскоре паровозы исчезли. Но война, слава Богу, не началась.

Хотя в школе мы играли в «Зарницу». Готовились. Бежали друг за другом и срывали погоны. У кого оторвали – тот «убит». Горестно, но пережить можно. «Убитый» всякий раз возвращался домой к родителям. А на следующий день – в класс. И садился рядом с «живыми». И все продолжалось. И ничего не заканчивалось. Ни детство, ни школа, ни семья, ни город. И не закончится теперь уже никогда. Потому что...

Потому что есть то, что называется родиной. Что ею становится. Что всегда с тобой. Что не умирает. А если умирает, то возрождается вновь. Что рядом. Что прирастает к имени твоему. Что близко, даже если ты далеко-далеко. И, как в той школьной «Зарнице», мы возвратимся. «Убитые» вновь сядут рядом с «живыми». И все будут вместе. И впереди у нас будет новый день...

# Мы из Осо

Тюленев пруд часто прорывало, и тогда вся деревня ездил на станцию Рымарево в объезд. Большаком. Лишним полуторакилометровым кругом. Дорога была утоптанней, но скучней. Без то и дело ныряющей в лощины и медленно выползающей наверх колеи-раскоряки. По ней ехать было весело, но страшно – мотающиеся из стороны в сторону деревянные колеса отчаянно скрипели на тележных осях и отрывисто стучали металлическими ободами по пересохшим камням.

С горы телега неслась как сумасшедшая. Оглобли обгоняли лошадь. Хомут переезжал с шеи кобылы на уши, и та, погоняемая озорным дедовским «А ну-ка, милая!..», кидалась сверху вниз на едва перегораживающую грязный пруд тюленевскую плотину.

Она была узка – одно колесо обязательно сползло в прибрежную жижу. Другое прокатывалось по самому обрыву. Над прудовой гладью вихрастыми поплавками вечно маячила пара-тройка чумазых голов – то было жаркое лето, и лучшего места для укрытия от степного зноя, чем наполовину заросший камышом коровий водопой, было не найти.

Все вместе это называлось стойлом. Сюда коров сгоняли на самые жаркие часы, и хозяйки с ведрами подтягивались

к Тюленеву аккурат к обеденной дойке, проходившей всякий раз под голосистое кряканье жирных бучанов, стаями гнездящихся в заросшей осокой лощине, да под свирепое жужжанье оводов, сводивших с ума всегда покладистую бабушкину Маньку.

Говаривали, что в Тюленевом кто-то когда-то утонул. Не верилось. Даже Сашке Прошкину любимая нами жижа была лишь по шейку. А он из деревенских считался самым маленьким. «Да то надясь еще было, – объясняла бабушка, – до войны...» Пруд тогда был большой и глубокий. Заливал всю лощину как есть. И подходил даже к огородам. Дед с дядей Петей снимали с себя рубахи и отправлялись ловить ими карасей. Те, по преданию, так и стучали носами о бабушкин огород, десятками запутываясь в дедовском исподнем.

Потом – уже не то. От разливанного пруда остались лишь топкий ручей да яма-самокоп для полива жадной до воды капус-ты. По его иссохшим краям много лет гоняли жидкое деревенское стадо, которое ко времени окончательного вымирания села насчитывало только шесть коров. Потом их стало пять. Потом три. Одна. А после уже деревня вымерла окончательно. Последние старики из нее съехали как раз в тот год, когда напротив раскорчевали прекрасный яблоневый сад. Тюленевскую плотину прорвало. Бревенчатые избы раскатали на слом соседские мужики с Первомай. Саманные развалились сами. Дорога заросла. И только могучие ветлы,

к которому дедушка всякий год привязывал для внуков рели, еще видны с токаревского большака. С него давно уже сняли указатель: поворот на Осоавиахим. Или – Осо, как простодушно называли все деревенские свою теперь уже навеки затерявшуюся где-то меж тамбовских и воронежский степей отчизну.

А помнишь – бригадир?.. Однорукий, черт, а как лихо управлялся со своим «ижаком» с коляской. Летит, бывало, по полям: кепка – на глазах, пустой рукав сзади полощется, куры – врассыпную, пацанва – в зависть. Мотоцикл-то в деревне редкостью был. Б-о-о-о-льшущей причем...

Изредка бригадир наведывался к нам. И тогда дедушка отворял дверь в избу и кричал внутрь: «Акулина Иванна, загляни-ка в шкафчик, гости у нас!» Бабушка покорно отворяла настенный закром и извлекала из него всегда притаенную по такому случаю пол-литру.

Доверху наполнялся стограммовый стакан. Бригадир бережно охватывал его своей заскорюзлой пятерней. Медленно подносил к груди. Вытягивался во весь свой карликовый рост. Как-то даже приосанивался, отчего горб под правым плечом переставал угадываться. Быстро опрокидывал водку в вечно небритый рот. Вдохновенно крякал. Брал со стола оказавшийся тут как тут кусочек ржаного хлеба. И, одобрительно глядя снизу вверх на деда, говорил:

– Ух, и жара ноне, Михайло Иваныч! Наскрозь упарился! Как бы хлеба не погорели. Овес-то в огороде уж, небось,

весь пересушил. Скирдоваться надумаешь – за лошадью-то заходи. Уважим. Все как есть... Все как есть...

Гостя выходили провожать на крыльцо. Уважительно наблюдали, как он хватко шурудит одной рукой в мотоциклетном моторе. Как сноровисто газует. Закладывает у колодца крутой вираж и с оглушительным треском исчезает в облаке жуткой пыли.

Бригадир был самым высокопоставленным из советских начальников, когда-либо посещавших наше село. Других не знали. Нет, был, говорят, где-то председатель колхоза. Километрах в двадцати от нас, в Цветовке. Но ни как звать или каков на вид, никто из местных бабок и дедов рассказать не мог. Деревня слыла неперспективной, а потому государственного интереса явно не заслуживала.

Из работников в ней оставалось лишь трое мужиков. Вечно угрюмый и молчаливый банщик Гаврилов, ездивший в соседний Партизан изменять своей жене на ядовито-красном велосипеде марки «ХВЗ». С ним он никогда не расставался, в отличие от своей жены-орденоноски. Та мужнины рейды переносила стойко. На людях не тужила – и только запершись в избе, давала ход непочатому бабьему горю.

На самом краю деревни, в едва удерживающей на себе соломенную крышу избе-саманке, с горбатой женой и двумя дочерьми на выданье весело коротал свою фантастическую бедность скотник Мерзликин. Помню, сидит как-то ошалевший на траве перед домом. В руках – ведро, по земле кар-

тошка рассыпана. Сидит и пьяно горюет: «Ну, ты подумай – тридцать шесть с куста! Почитай – ведро! Во урожай! Во!..»

То был жгучий тамбовский чернозем. На нем не только скотник Мерзликин, но и как минимум полдеревни жили в советское время бедно. Ютились в саманках. Крыши крыли перепревшей соломой. Дыры в них успевали латать не всегда. И жутко радовались 24-рублевой пенсии, из которой умудрялись купить внучатам гостинцы и отложить на черный день.

Жили еще по соседству два полоумных брата Орловы. Те навоз в соседнем Партизане возили. Колхоз доверил. Важничали братья от этого сильно. Встанет старший брат Петро на засранную телегу, натянет вожжи, хлестнет петлей по лошадиным бокам, радостно закричит и ну так скакать по стерне два километра сряду. Как раз до партизанской конюшни получается. Издалека глупая башка виднеется. Волосы – вроссыпь. Рубаха – пузырем. На слюнявых губах дурачка – улыбка. Хорошо малому тут. Легко. Просторно.

В семинарию мечтал. «Вот, – говорил, – дядь Миш, уеду скоро. В Загорск зовут. Учиться. Бога почитать...» «Что же, Петенька, – соглашался с убогим дед, – хорошее дело задумал – учеба. Ступай. Бог милостив...»

Простой был в деревне народ. Самый нена начальственный. Дед, как с фронта медали принес, в конюхи подался. Бабушка Акулина полжизни в поле провела. Деду Петьке – старшему брату бабушки – не повезло. Года три в плену промаялся.

Все зубы там оставил. А в придачу к ним – и доверие властей. С войны тут же в поле угодил, аккурат под брата Алексея плетку. Тот в конце сороковых председательствовал. Крут, говорят, был чрезмерно. Прискочит на лошади в поле. Глянет, кто сел передохнуть, и вдоль спины нагайкой: «Я те покажу, как лодырничать!» Всем доставалось: и своим, и чужим – поровну...

Досадовали на братца. Годы спустя улеглось. Да и сердце у деда Лешки стало пошаливать. Полдеревни в райбольницу ездили навещать. Хоронить приезжали родственники аж из самой Москвы.

Чуть было про сына его – Леньку – не забыл. Этот уж совсем высоко взлетел – районного начальника на «Волге» возил. До таких вершин никто из деревенских не дослуживался. Потому каждый приезд дяди Лениного авто деревня переживала особо. Машину обступали со всех сторон. Восхищенно гладили ее переливающиеся на солнце бока и с нетерпением ждали, когда хозяин выйдет из отцовской избы на крыльцо и крикнет: «А ну, ребятня, кто кататься?»

Дядя Леня был добрый, и из окна его служебной «Волги» вечно торчало до десятка счастливых мальчишских физиономий. Не то что одорукий бригадир. Тот, наоборот, слыл человеком строгим и прижимистым. Катать на своем мотоцикле не любил. Но осуждать его за это не смели. Как можно? Ведь это ж был сам бригадир! Разве есть кто выше его по рангу? Конечно же, нет, справедливо рассуждали деревен-



ские, и исправно откупоривали бутылку, лишь только слышат под окнами знакомый мотоциклетный треск.

# Электричка в Монтекатини

«Со-бач-ка...» – как это у него так мягко выходило, у Мастроянни, в том фильме, помните? С легким таким и осторожным растягиванием незнакомых итальянцу русских слогов. С нежным поглаживанием во рту языком шершавого нашего «ч» и колючего «к». С обтачиванием их мелодичной тосканской фонетикой, словно вылизываемых волнами Адриатики маленьких камней.

«Со-бач-ка...» – итальянцы определенно любят животных. Я имею в виду – маленьких таких, с белым кудряшками болонок. Один синьор, вижу, управляет поводками целой полудюжиной, как раз напротив театра Верди. Зачем ему столько?.. В Монтекатини в несезон по вечерам тихо-тихо, народу – чуть, разве что старички по лавочкам, так что сразу шесть «со-ба-чек» – почти капелла.

А спать здесь зимой ложатся рано. Городская карусель на центральной площади уже к семи часам гасит фонари. Синие ослики и розовые жирафы перестают вертеться. Кружившаяся на них местная малышня отправляется по домам. Щелкает в последний раз рубильником усатый карусельщик. Буаноноттэ...

Я прошу прощения за излишнюю навязчивость, но, чувствую, вы не были в Монтекатини. На самом деле – это очень

просто: от Флоренции – 40 минут на электричке. Я бы посоветовал в двухэтажной – обзор шире. Хотя – вечер, февраль, люди с работы уставшие возвращаются, студенты с лекций: какая разница, где, вытянув ноги, блаженно задремать?

Вы знаете, флорентийцы тоже, оказывается, устают на своих работах. До чертиков. Честное слово. И с сумками, в точности как мы, вбегают за минуту до отправления в переполненные вагоны. И радостно так плюхаются на свободные места. Чтобы, значит, ехать домой, в Пистою, Прату или Монтекатини, – к семье и детям. Из этой – Флоренции. Представляете: каждый божий день или вечер уезжать из Флоренции...

Да вы, может быть, не сильны в итальянском? Увы – я тоже. Как говорится, «нон парло итальяно». Хотя был случай (опять-таки в Монтекатини), пришлось с моим «нон парло» подвизаться даже в качестве проводника. Можно сказать, экскурсовода.

Итак: ты очень внимательно выслушиваешь по-итальянски вопрос на тему «как проехать?» (кстати, довольно лестно продлевать ошибку собеседницы, уверенно угадывающей в тебе тосканского аборигена). Участливо в ответ киваешь (без малейшего понятия – чему). И под конец растроганно признаешься в своей досадной (и, надо признать, чертовски досадной в среде чарующих итальянок) немоте: скюзи, сеньора...

Та, что заблудилась тогда в Монтекатини, весело помахав

ла в ответ рукой и умчалась в теплый февральский вечер. Красные огоньки ее «Фиата» растаяли как раз в направлении Термы Тетуччо. Уверен: вы знаете ее, эту терму. Ну, ту самую, с Мastroянни: «со-бач-ка»...

Нет, я ни на что не претендую. Я тоже в ней самой не был. И вряд ли буду. Впрочем, сквозь закрытые на зиму ворота заглянул – врать не буду: колоннада, мрамор, очищение почек, холестерин – в общем, санаторий «администрации президента» Римской империи в чистом виде.

Ну да, я и говорю: термы эти (да и весь курорт) – для самых невероятных богачей. Аристократов – тоже. Плюс первых леди первых стран. Слушайте, якобы Светлану Медведеву пару лет назад сюда возили, так переволновавшиеся монтекатинцы, ходил слух, даже таблички уличные по-русски в честь такого случая переименовывали. Что, впрочем, быстро рассосалось: улицы вскоре вновь стали Verdi, Marconi и Bellini, а единственным отголоском русского «нашествия» оказался еженедельник «АиФ», чудом затерявшийся на тучных полках местных «союзпечатей».

Но вам этих богачей не стоит бояться. Ей-богу. Зимой в Монтекатини их, по-моему, просто нет. Не думаю, что они специально как-то прячутся. Просто – съезжают. И, опять-таки, не думаю, что на электричках. Я бы уехал, конечно, именно так: прокомпостировав предварительно билет на маленьком вокзале Монтекатини-Чентре, уютно устроившись у окна и с любопытством разглядывая кнопочного малы-

ша-негритенка, туго притянутого цветастым шарфом к спине бедно одетой африканки напротив.

Как негритеночек уморительно по-щенячьи чмокается губками в капюшон своей маман. Соску ищет? Пожалуй... Как сонно бодает коричневым лобиком нежно ласкающую взрослую ладошку. Как медленно закрывает бусинки-глаза. И засыпает под стук колес пригородной электрички.

Флоренция – только через 40 минут. За окном – густой февральский вечер. Карусель в Монтекатини, скорее всего, уже закрылась: ослики, лошадки и жирафы тоже будут спать. Усатый карусельщик наверняка выключил свой большой рубильник: погас свет, остановилась музыка... Тот странный синьор с кучей поводков в руке тоже, наверное, выгулял своих питомцев и повел их ужинать. Я, пожалуй, тоже вздремну чуток, пока вагон качается. Может, и приснится что-нибудь. Буаноноттэ, «со-бач-ка»...

# Саша и Аркаша

У Сашки слов победнее, чем у Аркашки. Зато все сочные, матерные. Букву «е» предпочитает в особенности. С нее, как правило, все и начинается: и работу, и перекур. Аркадий по-разговорчивей своего напарника. Правда, я все равно ни черта не смыслю в его шепелявой болтовне. Нет хуже говорливого немого.

Санек пескоструит ротора, Аркадий – сопловые. Бывает наоборот. Я их лью, а они все это хозяйство дрят. В литейку немых охотно берут – иные брезгуют: пыль, шум, пудовые детали, жар, вонь и прочее. Немые ничего: помычат, помаютюкаются одной буквой «е» и – за работу. За сушие гроши. А что поделаешь: на чьих-то ведь плечах индустриальная мощь страны должна удерживаться?..

У Сашки лапа здоровая, жесткая, как наждак. Начнет поутру ручкаться – того гляди оторвет или оцарапает. «Здорово, Сасок!» – нежно поддразнивают немого обрубщика мужики. Саша умеет говорить свое имя. Правда, без буквы «ш». Ну и мужики, значит, тоже к нему – по-свойски, без шипящих.

Аркашка, наоборот, шипящие обожает. Ну, просто каша во рту. Журчит так радостно, булькает – это он про ремонт коробки передач в своих «Жигулях» рассказывает. Мужики,

что потерпеливей, вслушиваются и даже советы дают. Тот озабоченно кивает. Я – нет: устал от машин. Натаксовался в молодости.

Сашке с Аркашкой по полтиннику. Им еще пять лет по второй сетке пыль в литейке глотать. Мне лучше – иду по первой, в пятьдесят. Точнее – уже пошел. Какая, спрашиваете, пенсия? Восемь плюс два раза по тысяче на детей. У меня их двое – студенты. Итого – 10 тысяч. Мало, говорите? Ничуть: многие завидуют. Не деньгам даже, а тому, что дожил.

Сашкин и Аркашкин друг Толян – тоже обрубщик, как они, – так месяца недотянул: вот, хоронить ездили. Вечно черный от шлифпыли, в робе песком, точно молью, побитой – так, истаял прям на глазах. И никакой онкоцентр не помог. Худой, как вилы, стал, а все толкал перед собой по цеху колесную тачанку с деталями. Шатается уже, а толкает. Сгорел малый. Сын остался и еще кто-то.

Меня устраивает, что они немые. Что именно здесь, в этом литейном аду, я могу с ними ни о чем не говорить: ни о плохом, ни о хорошем. Первое, что обсуждать – океан коромыслом не перетаскаешь. А второго так мало, что и словарного запаса немых будет чересчур.

С Сашкой даже драться хотел. Точнее – он пятикилограммовой болванкой в меня один раз прицелился. Прям в лоб. Пескоструйку я у него на минуту занял. А что – он прав.

Мужику работать надо, а тут с другого участка кто-то присоседился. Это я про себя. На всякий случай присел. Отлив-

ка просвистела мимо.

Аркашка посмирней – напором не берет, но хитростью. Тачечку себе удобную у слесарей сварганил, никому не даст. Кроссовочки, костюмчик, козлеца с бригадиром в перекур, премии грошовые и все такое. В душ, опять же, как после смены не зайдешь – Аркашка уже напаренный оттуда: красный, гладкий, как в форму отлитой...

Скучно мне с ними. Очень. Благо – не о чем говорить. А то бы совсем тоска. Но в целом они хорошие: пьют в меру, дерутся – тоже. Меня несколькими словам из немой азбуки обучили. Да и начальство хвалит. Я скоро уйду, а они – останутся. Потому что так надо. Потому что так заведено. Потому что индустриальная мощь страны по-прежнему должна на чьих-то плечах держаться.



## «И чтоб чрез смертья возвратился...»

Пушкин назвал его «чудаком, не знающим русской грамоты». Считал, что максимум «од восемь его надо оставить, остальное сжечь». Император Александр I в сердцах подтвердил отнесенное на его счет – «горяч и в правде чорт». И передел из министерского мундира в домашний халат. Знаменитый губернатор-взяточник Лопухин едва не доконал поэта-разоблачителя доносами. Полгода следствия и сомнительная честь инспектируемой Державиным Калуге прослыть столицей российской коррупции. Обошлось: поэта-правдоруба оправдали, обворовавшихся Калугу и Лопухина... тоже.

Его стихи (оды) не декламируют со сцены. Давно не переиздают. Неизвестно, проходят ли в школе, включают ли в сочинения для ЕГЭ? Не дают его имя улицам, школам, библиотекам. Правда, есть в России названный в его честь университет. Может быть, даже два... Но в целом – забвение. Общий приговор: «тяжелый» слог, «загроможденная» лексика, «высокопарность», «пышность» и т.п. Да и сам Александр Сергеевич к сему руку приложил... Короче – «вышел из моды». Хотя и остался в истории. Выйти из нее Гаврилу

Романовичу Державину уже никак невозможно. Поскольку он и есть та самая история: человека на тверди земной и духа, над всеми парящего...

*...Твое создание я, создатель!*

*Твоей премудрости я тварь,*

*Источник жизни, благ податель,*

*Душа души моей и царь!*

*Твоей то правде нужно было,*

*Чтоб смертну бездну преходило*

*Мое бессмертно бытие;*

*Чтоб дух мой в смертность облачился*

*И чтоб чрез смерть я возвратился,*

*Отец! – в бессмертие твое...*

Он прожил потрясающе насыщенную жизнь. Из ничего вылепил в себе историческую фигуру. Из полуниссего провинциала – сенатора. Из ученика безграмотного солдата – литературного классика. Заядлый картежник, нежный сын и супруг, суровый гонитель пугачевщины, отважный защитник жертв беззакония, расчетливый царедворец, каратель взяточников, слагатель льстивых од и безгранично талантливых посланий, познавший царскую любовь и ее же опалу, изваявший, даже отливший чуть ли не в бронзе литературный русский язык и получивший за то пушкинский «выговор» якобы «дурного перевода с чудесного подлинника» – все это

и есть Гаврила Романович Державин.

Не напиши он ни строчки, держава все равно бы узнала Державина. Но он написал, и история России и русского языка прочертила его сильную траекторию, может быть, и не отдавая себе в этом отчета, то и дело воспарял над ней в порывах более легкой словесности. Та обладала, безусловно, массой достоинств, кроме одного, краеугольного, державинского, – гравитации. Той самой тяжести («свинцовой», как упрекал своего великого предшественника великий Пушкин), что придавливает поэтические строфы к земле, сообщая им необходимую устойчивость и отнимает звуковую невесомость, что так желанна стала в стихах впоследствии.

*Глагол времен! Металла звон!  
Твой страшный глас меня смущает;  
Зовет меня, зовет твой стон,  
Зовет – и к гробу приближает.  
Едва увидел я сей свет,  
Уже зубами смерть скрежещет,  
Как молнией, косою блещет,  
И дни мои, как злак сечет...*

«Тяжесть» державинского стиха осязаема. Увесистость. Объем. Форма. Цвет. Строфы точно не из-под пера, а высечены из камня. Выисканы глубоко в недрах. Отколоты от ги-

гантских льдов. Упали из метеорных потоков. Иные точно слышаны в грохоте водопадов, оружейной пальбе или даже – победных салютов...

*О росс! О род великодушный!  
О твердокаменная грудь!  
О исполин, царю послушный!  
Когда и где ты достигнешь  
Не мог тебя достойной славы?  
Твои труды – тебе забавы;  
Твои венцы – вокруг блеск громов;  
В полях ли брань – ты тмишь свод звездный,  
В морях ли бой – ты пенешь бездны, –  
Везде ты страх твоих врагов.*

«Образы и слова, – писал о Державине В. Ходасевич, – он громоздил, точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался их столкновением». «По существу, – продолжал рассуждения о великом стихотворце Ю. Айхенвальд, – эта громкая поэзия отражает в себе как личные настроения самого Державина, так и психологию и даже физиологию блестящего века Екатерины. Ее певец, он сумел внутренне объединить на своих страницах то, что относится к ней, к ее царствованию, с тем, что составляет его именную субъективность».

Впрочем, сверкающий металлическим отливом, увесистый, тягучий стих Державина обязан был не одному лишь

громогласию эпохи героини его бессмертной «Фелицы», но и движению поэтической музыки куда менее политизированному и сиюминутному. А именно: обусловленному как самой природой русского языка, так и секретами души его носителей. В великой оде «Бог», почти десятилетие томившейся на письменном столе поэта, державинская форма стихосложения обрела-таки непоколебимое алиби: о Всевышнем сподручней изъясняться могуче, увесисто, зримо, ни на миг не допуская сомнения в присутствии Создателя.

*О ты, пространством бесконечный,  
Живый в движеньи вещества,  
Теченьем времени превечный,  
Без лиц, в трех лицах божества!  
Дух всюду суций и единый,  
Кому нет места и причины,  
Кого никто постичь не мог,  
Кто все собою наполняет,  
Объемлет, зиждет, сохраняет,  
Кого мы называем: бог.*

Державинско-пушкинская развилка русской поэзии обозначила два ее главных вектора: первый ближе к скульптурному, пространственному, осязаемому, некоему прообразу 3D, дополненному лексической гравитацией, и подчиняющийся тяжеловесной вселенской круговерти; второй вектор

– скорее мелодичный, легкий, трудноуловимый, стремящийся туда, где веса нет, а заодно – пространства тоже, тот самый «пух из уст Эола», не празднующий в законах физики ничего путного, кроме, пожалуй, одного. А именно – привычки к гениальной невесомости...

# Скамеечка

Я уже не помню, когда она появилась: может, лет сорок назад, а может быть, и раньше. Мне кажется, что ее построили вместе с домом – как абсолютно неизбежный атрибут. Били сваи, клали стены, гудронили крышу и – изваяли скамеечку. Грузную и колченогую. От рождения износившуюся. Постановывающую и устало кряхтящую под каждым пристроившимся на нее. Короче – изначально отжившую свой срок.

Скамеечке до всего было дело. Она встречала рожениц нашего подъезда. После провожала их повзрослевшую поросль в детсад, затем – в школу, институт, ЗАГС, тюрьму. На ней наши молодые мамы пеленали своих чад. Затем – внуков. После их самих, поседевших и осунувшихся, проносили мимо скамеечки в обрамлении венков и убитых горем родственников.

Скамеечка знала все. За сорок лет наслушалась всякого и обо всех. Даже пустая нравоучительно пугала молодежь, привыкшую ходить мимо скамеечки на цыпочках, как сквозь строй, будучи всякий раз поротой по-соседски ядовитыми домыслами заседавших на ней вещуний.

Заседания эти не имели ни конца, ни начала. И часто сопровождалась выпивкой. Схоронившие беспокойных и нетрезвых мужей соседки обзавелись со временем скучной жизнью и пристрастились в теплые деньки вытаскивать

на скамеечку подмайонезенные оливье, селедку, холодец и шумно с песнями чавкать на виду у честных прохожих.

То Масленицу обмывали, то Троицу, то похороны, то Петров день... Да мало ли?.. Под хруст соленых огурчиков, щелканье подсолнухов и предательское звяканье тщетно упрятываемых в ногах бутылок.

– Петровна, иди – семачек!.. – летел со скамеечки в адрес очередной товарки возбужденный женский клич...

– А по шкафу так и сыпать побелкой, так и сыпать. Топочет, что ли, кто по потолку...

Дверь в подъезд то открывалась, пропуская очередного жильца, то закрывалась, выпуская обратно, а со скамейки все «топотало» и «топотало». Год, два, три...

Было дело, скамеечку даже выбрасывали. Дабы не приваживать... А кого, собственно, самих себя, что ли?.. В общем – оттащили дряхлую на помойку и бросили – точно полоумную бабку в дурдом. Был скандал. Общим сходом подъезда потребовали вернуть. Притащили старую обратно и приколотили к расшатавшимся в изгнании ногам дощатые протезы – для пущей устойчивости. Пусть будет. Так и поскрипывает.

Я помню всех, кто на ней сидел. И знаю, почему – перестал. В половине случаев – все она, «проклятая». Водочка, то бишь. В остальных – «ее» вторичный эффект. Мужики уходили дружно, как на войну. И – не возвращались. Скамеечка со временем все больше становилась вдовьей. Хотя не сказать, чтобы уж чересчур меланхоличной.



Ей было по-прежнему некогда скучать. Товарки стекались на нее со всего дома. И хищно обсуждали всякого, ныряющего в подъезд. Прения, так и есть, нет-нет да и прерывались тостами. Но – в меру, как уже отмечалось, камерными, без, боже упаси, серьезных нападков на окружающую мораль. Так – слегка, по-бабьи, по-нашенски, по-русски с перчинкой и матерком. Но все-таки добрым матерком, в сущности, даже где-то почти душевным.

Скамеечка прожила с нами всю нашу жизнь. Или – прожила все наши жизни, поскольку своей не располагала. Поэтому, видимо, приходилось отнимать свои годы от наших. На что они ей сдались, не знаю. И так много... Стало быть, нужны, раз пользует. Ну, скрипи, старая, не падай. Воркуй соседкам про свою деревянную немощь. Кряхти. Вздыхай. Покачивайся...

# Переулками вечности

В Рим приезжают для того, чтобы, покинув его, никогда с ним больше не расставаться... Собственно, в Вечный город не приезжают – в нем растворяются. Моментально. Как кусочек рафинада. Ты будешь сколь угодно долго штудировать накануне отлета путеводители, освежать в памяти даты жизни Юлия Цезаря и Октавиана, читать про форумы и Колизей – и все тщетно. Брось...

Рим проглотит тебя со всеми твоими потугами и жалкими обрывками справок. Они ему не нужны. Ему нужен ты – человек. Такой, какой ты есть: знающий или не очень, из ближних весей или издалека, «парло итальяно» или, наоборот, «нон» – любой, ибо каждому он – отчизна. Поскольку – центр мира. Повертите русское слово «мир» и убедитесь: именно Вечный город дал Вселенной орфографический заем из основополагающих «м», «и», «р».

\* \* \*

Гоголь признался в письме из Рима: «Я родился в Италии!..» И то верно: на Страда Феличе в Риме случились роды великой русской прозы – «Мертвых душ». Появившихся именно здесь – близ Пьяцца ди Спанья – на свет и покоривших тут же всех своей истовой русскостью.

Взлетевшая из-под стен римского Тринита дей-Монти (Троицкого, скажем так, на горе) собора русская литературная звезда, облетев мир, вспыхнула сверхновой (вторым томом «Мертвых душ») вблизи своего собрата – Троицкого собора, но уже в Калуге, где в нескольких кварталах от него – на губернаторской даче в загородном саду – великий римлянин в 1849 году в первый и последний раз полностью продекламировал сожженное впоследствии творение.

\* \* \*

Пьяцца ди Спанья – Испанская площадь в Риме. Лучше всего на нее выходить случайно. Меряешь себе шагами тысячелетний булыжник узких римских улочек, вертишь во все стороны головой – и вдруг бац – ты чувствуешь себя парящей в небе птицей: внизу – купола Вечного города, за спиной – протыкающая небесную голубизну двуглавая Тринити, вокруг – пестрота холстов местных рисовальщиков, говор шныряющих под ногами смуглолицых индусов, одаривающих симпатичных туристок (за пару евро, конечно) нежными розами.

Мекка влюбленных. Та самая двухмаршевая лестница, сыгравшая заглавную роль в оскарносных «Римских каникулах» Уайлера. По ее ступенькам не то чтобы спускаешься, скорее – нисходишь. Будто с небес. И никогда не увидишь сбегающего. Зато сидящих и даже возлежащих – навалом. Вплоть до «Баркачио» – фонтана-лодчонки, некоего полуза-

тонувшего романтического изваяния, также гениально подыгрывавшего великому дуэту Одри Хепберн – Грегори Пек.

\* \* \*

Жизнь человека разделяется на две половины: до Рима и в нем. Многие остаются в первой половине навсегда. И даже не подозревают об этом. Остальные пребывают во второй. Потому что, повторяю, посетив однажды Вечный город, ты автоматически прописываешь там свое сердце. Даже физически возвращаясь в Калугу, Челябинск или Моршанск, ты все равно остаешься римским пленником навеки. Город всасывает тебя, точно вакуумный насос. Откуда столь притягательная мощь у этих каменных стен, булыжных мостовых и жужжащих мотороллерами перекрестков – непонятно. Короче – аномалия налицо.

Пробовал экспериментировать: игнорировать «достопримечательности» и обшагать «обычные» римские кварталы. Не получилось. Тут же был «съеден» первым попавшимся на пути книжным бутиком. Впрочем, даже не знаю, как эту штуку правильно назвать. С порога – вроде бы кафе 30-х: столики, аромат эспresso, приглушенный дух сигар, кашне, синьоры... Зал, впрочем, быстро обнаружил преисподнюю – уходящие вглубь неоглядные стеллажи с вечностью на полках. С искрошившимися по краям кирпичиками прабабушкиных книг, выцветшими альбомами витиеватой графики, поцарапанными граммофонными пластинками, картинами,

тоже требующими опытной руки реставратора, справочниками полувековой свежести, коробками старых писем и открыток, причем написанных кем-то и кому-то, видимо, еще при Муссолини, зато источающих терпкий аромат столь тесно обступившего тебя бессмертия. Вечность не отпускает тебя в Риме ни на минуту.

\* \* \*

Не спрашивайте о Колизее и форумах. Честное слово, они куда тщедушнее, нежели на картинках. Думаю, они сломались не от землетрясений и войн, а под натиском взоров туристов и квантового артобстрела их дальнобойных фотовспышек. Спросите лучше о соборе Святого Петра. Но не о его размерах или тоннах отполированного мрамора, пошедшего на сооружение стен, и даже не о гонорарах его творцов – Браманте, Бернини и Микеланджело. А о том, как же человечеству удалось таким образом впервые выбраться в космос. Если бы Нобелевскую премию по астрофизике (самой близкой к проблемам Вселенной) разрешили бы присуждать посмертно, – ну, хотя бы одну или две в виде исключения, – я бы прежде отдал ее творцам базилики Сан-Пьетро. И только потом – Ньютону или Галилею.

\* \* \*

И еще в Риме танцуют. Просто так – на площади, скажем, Венеции. По вечерам под духовой оркестр муниципальной

полиции. В тот день бал давали для людей Божьих. По-нашему – блаженных. Оркестр наигрывал вальсы, и римские дурачки счастливо кружились в парах. В конце бала оркестр исполнил гимн, и бравый дирижер, вытянувшись в струнку, взял перед неуклюжими танцорами и прослезившейся на их искусство публикой «под козырек»...

## Забутые «Незабудки»

Говорят, его стихи не очень пелись. Единственное, якобы положенное на музыку, – «Сережка с Малой Бронной...» («Москвичи»). К тому же приписываемое почему-то Окуджаве. Да еще и поправленное Бернесом. Затем, правда, вновь переписанное автором. Думаю, что это не так. Редкий случай, когда мне захотелось подобрать мелодию к стихам – это винокуровские «Я когда-нибудь снимусь над молотом...» Помните? «...С облаками где-то вдалеке... Я хочу запомниться веселым с веткою какой-нибудь в руке!» Впрочем, подозреваю, что запамятовали. Бывает...

Я не знаю, каким запомнился Евгений Винокуров. Не исключено, что многим – никаким. В отечественной литературе образовался целый пласт ценнейших поэтических залежей, меченный грифом – «советские». И потому якобы – «банальные», «идеологизированные», «устаревшие». В филологические «отвалы» ушли литературные самоцветы, переоткрытие которых способно нынче одарить незашоренного читателя безмерной эстетической щедростью. А в случае с Евгением Винокуровым – настроить еще сердца и души на философский лад.

Его в самом деле называли философом. Кто – в упрек, кто – в похвалу. Книги стихов он называл почти по-

аристо-телевски, мощно и всеобъемлюще: «Бытие», «Ипостась», «Слово», «Метафоры», «Характеры», «Ритм»... И верно: этот истрепанный войной щуплый двадцатилетний младший лейтенантик принес с собой с войны в пропыленном вещмешке глубокое осознание Бытия – не меньше. Спрессованное, впрочем, до невероятной плотности в короткие, плотные, яркие и пронзительные строки. Его ставшие знаменитыми «Незабудки» – одна из самых, наверное, емких и сжатых трагедий той войны:

*В шинельке драной,  
Без обуви  
Я помню в поле мертвеца.  
Толпа кровавых незабудок  
Стояла около лица.  
Мертвец лежал недвижно,  
Глядя,  
Как медлил коршун вдалеке...  
И было выколото  
«Надя»  
На обескровленной руке.*

В каждой строчке, в каждом слове, даже букве каждой выкована точная метафора, выбивающая искру из близлежащей и от образовавшегося поэтического накала готовая сжечь книжные страницы, отведенные на вопиющие против всякой войны маленькие и страшные винокуровские «Незабудки». Без грохота орудий и пулеметной пальбы, лишенная



лязга гусениц и минометного воя, война вышла из-под пера юного окопного поэта во всей своей ужасающей нечеловечности. Отвратительной бессмысленности. Обрамленная посмертным приговором – не забывать. И еще более суровым – лишения человека последней искорки надежды.

Говорят, он был не похож на самого себя. Как бы это сказать – слишком обыденный для философствующего поэта, так, что ли. В неизменной серой кепке, тучный, сосредоточенный, мелькал то и дело со своим портфелем на эскалаторах метро по пути на занятия литинститутского семинара. Был сдержан. Даже суховат. С властями не заигрывал. В диссидентство не рядился. Избегал публичности – не читал стихи со сцены, чем, собственно, обозначились в ту пору шумные шестидесятники. А просто – писал, учил, редактировал, вспоминал, думал...

*Весною новой новая трава*

*Не знает ничего о прошлогодней.*

*Ей память для чего? Она жива, –*

*Ей хорошо без прошлого. Свободней.*

*А мне-то как: забрел в дремучий лес*

*Воспоминаний и не выйду к свету...*

*Мир прошлого! Да он давно исчез!*

*Его на самом деле нету!*

*Был, да пропал, подобно миражу.*

*Прошло с тех пор уж лет пятнадцать так...*

*А я брожу в густом лесу, брожу*

*С рубцами на лице от бьющих веток.*

«Я почувствовал себя сильным, – вспоминал Винокуров время вступления в большую поэзию, – когда вдруг понял, что в том случае, если стихотворение не вышло, его надо не «доделать», как принято было говорить в Литинституте, а «дочувствовать». Область настоящего поиска поэт определял не в области стихотворной техники, а в области человеческой психики, в области мысли.

*...Несказанная мысль  
хотя и беспредельна,  
но все ж ты из нее  
простой  
предмет слепи,  
произнеси ее, мой друг,  
членораздельно,  
движеньем губ своих  
в пространстве закрепи.*

Винокуров был с того самого краугольного 1925-го. Самые юные призывники Великой Отечественной. Восемнадцатилетними поставленные командирами взводов. Ввинченные по самые пилотки в оборонительные рубежи Отчизны. Вбитые крепкими гвоздями в оплот будущей Великой Победы. Совсем мальцы, но какая сила! Только из школ, но уже – философы. Пропахшие порохом, калеченные, конту-

женные, толком так и недоучившиеся, но – уже поэты, мудрецы, пророки...

*Снегом густым*

*Замело,*

*Забуравило.*

*Ничего не разобрать*

*Добром.*

*А зимы еще не было,*

*Просто набело*

*Осень была переписана ноябрем.*

*А зимы еще не было,*

*Просто неистово*

*Ветер врзался в глубь сосняка...*

*Я обмотки разматывал,*

*Словно перелистывал*

*Страницы солдатского дневника.*

Он не дотянет до семидесяти. Настоящие фронтовики долго не живут. Тихо уйдет в самую перестроечную смуту. Оставив после себя уйму книг: своих любимых авторов – на стеллажах домашней библиотеки, и собственных стихов – в домашних библиотеках тысяч россиян. Первые загадочно исчезнут. Вторые еще более необъяснимым образом станут постепенно уходить в тень, из которой мы вскоре начнем сиротливо поглядывать в сторону ушедшего в вечность и оставившего нас наедине с грозным Бытием солдата, философа,

поэта – Евгения Михайловича Винокурова.

*Я очень поздно понял глубину.  
Я на нее набрел совсем случайно.  
Я думал: на секунду загляну  
И отшатнусь. И сохранится тайна.  
Но глубина уже вошла в меня  
И мною уже сделалась отчасти.  
И я живу, в себе ее храня  
На самом дне.  
На горе иль на счастье.  
Ее, и ненавидя и любя,  
Я сохраняю.  
Не легко мне часто.  
Но без нее я б чувствовал себя,  
Как ихуна в шторм, что вышла без балласта.*

## Нигде и никогда

– Как меня найти? – переспросил Михалыч. – Да проще простого. Дом престарелых, что на Маяковке, знаешь? Ну, так вот, заходишь в корпус и говоришь: «К Михалычу». И тебе всякий укажет. Я – кому телевизор починить, кому радиоприемник. Опять же плакат какой-нибудь для центра нарисовать – все ко мне идут...

Его последнее пристанище – четыре на три метра комнатенка с умывальником, но без туалета. Две панцирные койки – его и нынешней жены, шкаф, стол, два стула, ну, вот, пожалуй, и все. На столе – разложенный во всю ширь, но еще не законченный плакат про красноносых алкашей с соответствующей рифмой. Михалыч поясняет: начальство просило пропесочить как следует нарушителей режима, хотя от режима этого сам порядком натерпелся...

– Слушай, – как бы спохватывается и переходит на заговорщический тон. – Ну, никакого житья – все сумки обшаривают. Чуть бутылку где найдут – долой. Говорю им: мне на каштанах сказали настаивать – помогает. Я и к главврачу ходил. Вот же, показываю, у меня и каштаны приготовлены. Для настойки... А он взял и отнял. Ну, было один раз. Напился. Так я же заранее пошел к главврачу и предупредил: мне нужно напиться – для разрядки... И все. И больше ни

разу. Ну да ладно. Это я так...

Михалыч – маленький жилистый старичок. На вид – далеко за семьдесят. Давно тоскующая по штопке тельняшка и одинаковые с ней по возрасту штаны – его обычный гардероб. Говорит, что подполковник. И даже – резидент. Ясное дело, в отставке. Подробности опускает – подписку, клянется, дал на 25 лет о неразглашении. Впрочем, не удержался и понес, понес... В ход тут же пошли короткоствольные автоматы, парашюты, стреляющие ядом авторучки и чертовски сложный венгерский язык. Дальше – Египет: раскаленные пески и книжица убористых стихов о неизлечимой русской тоске по хрустящему снегу.

– Я их прям залпом сочиняю, – клянется старик. – Сажусь – и всю ночь, не вставая, пишу. Жена-покойница за это сколько раз ругала. Зачем, говорит, зря свет прожигашь...

Он долго ищет в своем рукописном сборнике «каирские» страницы, цепляет на нос очки и с чувством читает... О древних сфинксах, о сыпучих песках, о русской душе, о елке за окном. Голос Михалыча дрожит. На глаза наворачиваются слезы. Он резким движением сбрасывает на стол очки, трет сморщенной ладонью нос и, как бы извиняясь, говорит:

– Чувствительный я очень. Не могу...

Разговор сдвинулся в сторону Индии. Туда, как назло, в агенты не взяли. Вместо нее героя отрядили в Анголу. Или в Намибию. А может, в Албанию. Чувствуется, Михалыч и с георгафией не на «ты», и быстро ее сворачивает. Теперь

вот, гордо выпячивает грудь в потертой тельняшке, – художественное ремесло. В шкафу пылятся трафареты «Не влезай – убьет!», «Играйте в Спортлото!» и т.д.

О том, как угодил в богадельню, рассказывает скупое. Что-то вроде Льва Толстого – плюнул и ушел. «Дед, дай сто рублей, мне деньги нужны!» – последнее, что помнит Михалыч из разговора с внучкой.

Перед окнами Михалыча – чисто выметенный двор, белые халаты, обшарпанные корпуса. Кругом большая и убогая опрятность. От кухни тянет домашним борщом. По дорожкам в инвалидных колясках мерно шествует недвижимый контингент. Условно подвижные, напротив, больше лепятся на скамейках и с лицами, отмеченными печатями невыразимой обреченности, толкуют о чем-то своем, несбыточном. Или играют в карты. В воздухе пахнет тоской. Хочется убежать...

– Я вообще-то себя называю чудачком, – признается Михалыч., – и, как его, забыл это слово...

Он гулко стучит с досады пальцами по лбу...

– Ну, что ты будешь делать, память какая стала... А, вспомнил: эксцентриком – вот как я себя называю... Разведчик – он ведь всегда актер. А я люблю играть, разыгрывать. Это даже не дурашливость, хотя внешне, может быть, так и есть. Скорее, ерничество... Так легче. Так легче, когда совсем тяжело...

В подтверждение тут разыгрывает пьяного: с помутнев-

шим взглядом, с заплетающимся языком – не отличишь. Но опять-таки клянется: в жизни – ни-ни. «Нам же, разведчикам, таблетки особые полагались, – переходит на шепот дед. – Проглотишь одну – и трезвый. Хоть за баранку после банкета садись. Точно говорю».

Пошла новая повесть. Не менее правдивая. Как самого «первого» в Детчино возил Высоцкого слушать. «В ту пору занедужил обкомовский шофер, – опять пошел нести свое неугомонный старик. – И прознала партия, что есть-де в Калуге опытный контрразведчик Михалыч, и пришла ко мне партия и сказала: «Давай, Михалыч, выручай. Надевай свои пистолеты и садись за баранку. Ответственные гости намечаются. Не подкачай. Так и есть: является в область собственной персоной сам Михайло Андреич Суслов. Одарить своего закадычного друга Андрея Андреича Кандренкова грандиозным подарком – знаменитым бунтарем-песенником. Тот, ясно дело, был не разлей вода с главным зажимщиком вольнодумцев Сусловым. И вот в детчинской резиденции Высоцкий и дал им всем жару про «порвали парус», про «охоту на волков». Здорово прохрипел. На славу. Ясно дело, выпили. Чувствую – повело. Э, нет, думаю, так дело не пойдет. Проглотил специальную таблетку – вроде отошло. Но все равно часок-другой полежал. А как же? Чай не дрова везу. Такая ответственность...»

Михалыч смотрит на часы. Надо спешить. Жена в больнице – переживает, как она там. Да и молодожен ведь он



– именно здесь, в приюте, на закате лет обрел-таки семейное счастье. Правда, с четвертой попытки. Размеренный и тягостный ритм дома престарелых, кажется, ничуть не сказался на старом неугомонном болтуне.

У Михалыча вечный цейтнот – ни минуты свободного времени. Того самого проклятого времени, к которому в этом несчастном заведении ты приговариваешься навсегда. К его абсолютной ненужности. Гнетущей избыточности. К его пожизненному плену. И некуда из этого плена бежать. Разве что в прошлое. В далекое-далекое прошлое. Такое далекое, что и не вспомнишь: а было ли оно вообще? А если и было, то неужели с тобой? И явь это или сон? Быль или небыль? Нет ответа...

Эх, подняться бы куда-нибудь высоко-высоко в небо. Чтоб захватило дух. Чтоб было точь-в-точь, как в детстве. Когда, набегавшись по двору, счастливый и уставший, ты приходишь домой, валишься на кровать, опускаешь голову на душистую с накрахмаленной наволочкой подушку, закрываешь глаза и под затихающий нежный мамин шепот летишь куда-то далеко. Летишь... И все-то у тебя еще впереди. Все-все. Целая прекрасная, долгая жизнь. Узнать бы ее только. Не упустить...

# Полуостров

Море на полуострове увидел только с самолета. В иллюминаторе как-то по-новому качнулась синева – не сверху, а снизу. В самом узком месте ее стянули длинным мостом. Тот шумно строили, азартно хвалили и натужно ругали. Теперь он – ориентир для российских «боингов». Заграничные не летают. Хотя аэропорт – шик. На посадку заходили кружным путем с востока, а потом с юга – от моря. И мост оттуда же кинули – явно не с руки. Но говорят: так надо...

Таксист в аэропорту заверил, что троллейбусы до города не ходят. Через пять минут подошел 49-й. До центра? Туда. Плата символическая – 13 руб. Можно и так – полуостров обходится без кондукторов. За окном потянулись высохшие репы, рассыпанный щебень, куски арматуры, обшарпанные пятиэтажки. Голые осенние сады качали ветвями на промозгом ветру. Из земли торчали осколки бетонных плит. Сосредоточенные горожане молча заполняли салон.

Кобышатник, Кубик, или площадь Куйбышева. Помню, как детей туда водили на карусели. Сняли квартиру рядом – за 1 300 в сутки. В свою ехать не хотелось. Когда-то мы были там счастливы. Но смерть отбирала из нее по одному. Теперь – только старые панцирные кровати, вытертый палас и сумка с черно-белыми фотографиями, где живые родственники на

берегу Салгира.

Рек на полуострове мало. Эта, пожалуй, главная. Течет аккуратно за домом. По весне исправно заливала дедов гараж, выложенный, как и все вокруг, из ракушечника. Все заливала – с машиной, удочками и банками вишневого компота, что запасали на зиму. За рекой – пещеры. В них, по преданиям, прятались первобытные люди. А после – местные пацаны.

Ничего не изменилось. Даже скамейка, где я на фото держу на руках годовалую дочь. Двадцать пять лет прошло, а доски на ней те же. Только – повитертые. И ограда в палисаднике у подъезда та же. Только – ржавая. И асфальт во дворе тот же. Только – в выбоинах.

Света по вечерам во дворе нет. Раньше не было газа. Теперь – света. Зато он есть в мобильниках, которыми мы светим себе под ноги. Поднимаемся на третий этаж. Узнать бы: в какой ее увезли морг? Раньше в этом доме я никогда не думал о моргах. Теперь – только о них. А также – о кладбищах. Сюда люди переселялись, чтобы быть поближе к раю. К теплу. К морю. И – винограду. Но точно – не к кладбищу.

На следующий день объехали несколько моргов. Ее нашли в том, что на берегу реки. Нашей реки. Как раз у ворот Гагаринского парка. В нем – длинные извилистые дорожки, простые карусели, пруд, где я катал свою будущую жену на лодке. А потом – детей на катамаране. Все замерло в ожидании глубокой осени. Но холод опаздывает. Октябрьское солнце обжигает лица. Мы прячемся в тени могучей акации. Нам

нужно выждать два часа, пока в морге не оформят справку о смерти. Мы с женой сидим на скамейке, по-детски болтая ногами. И – молчим.

Рабочие парка гребут листву. Гудит трактор. Вода в пруду прозрачная. На дне видны склизкие камни. Среди них снуют блестящие мальки. Пижонистые селезни бороздят заводь, хорохорясь перед серыми утками. Мы вспоминаем, как спасали такую же серую шейку от наглого пса. Я был на веслах. Жена – на корме. Пес греб лапами в сторону уточки. Мы подставляли ему бока нашего ялика. Сколько же прошло с тех пор лет?..

Она была младшей. Водила троллейбус. Тот самый знаменитый, что мог катить из большого города через перевал до берега Черного моря. Самый, говорят, длинный в мире маршрут. И – такая короткая жизнь. Загар у нее всегда был неравномерный. Левая рука смуглее правой. Потому что левая – в проеме открытого окна. Под палящим южным солнцем. Правая – на руле. Троллейбусы были надежные, крепкие, чешские. Ее машина на боках несла рекламу FUDGI.

В последние годы она редко выходила из дома. Но основные события вокруг улавливала. Как полиция выламывала дверь соседу-однокласснику. Потому что он оказался «политическим». И по мобильнику разговаривал по-украински. О чем он там говорил? И с кем? Неужели что-то взорвал? Или – все приписали? Говорят, видели на Майдане. Кто? Другой одноклассник из подъезда. Только по другую сторону барри-

кад. Омоновец. Теперь их матери-соседки – лютые враги.

Раньше мирный подъезд вдруг перестал быть мирным. Наверное – войны. Или – климат. Или – старость. Хотя доживают до нее в подъезде немногие. Ей, скажем, было всего лишь 43. «Молодых у нас все больше и больше, – сетует про-раб-могильщик на Старом Абдале. – Старики – редкость». Идем вдоль могил. И верно: пожилые – с прежними датами смерти, молодые – с нынешними. И – теснота. Могилу решили копать в отцовской. И тесно слишком, да и дочь любимая. «Думаю, не обидится», – смахнула рукой слезу жена.

«Десять лет уже на полуострове, – признается словоохотливый могильщик, – а привыкнуть не могу». Сам из Вологды. Был в милиции. Теперь – казак. Националист и этого не скрывает. Рассказывает, как казаки разгоняют на полуострове татар. Хотя место работы, то есть кладбище, изначально татарское. И первые мраморные в полтора – два человеческих роста монументы им. «Здесь, кажется, Юрию Богатикову памятник есть?» «Да, пойдете покажу». Отказываемся. В другой раз. Впрочем, надемся, что его уже не будет...

Полуостров, как половина жизни. Был, есть и, видимо, останется. Не вся жизнь, не краткий миг ее, а вроде как разрезанная напополам душа. Не склеивающаяся заново, не отбрасываемая насовсем, а так и оставшаяся в расчлененном надвое сердце навсегда. Скажем так – полусердце. Полу жизнь...

Обратный самолет взлетал поутру. В глухое ненастье. По-

дуостров тут же спрятался под облака. Когда он окончательно ушел из-под крыла, мы уже не узнали...

# Космос нашего детства

– Папаша, следите за своими детьми! – бросилась в мою сторону со стула смотрительница музея. – По экспонату ходить нельзя! Сломаете ракету!..

Я всегда удивлялся, откуда в музеях берутся такие сердитые дамы. Они всегда кого-то выслеживают. Зло скучают. И всем своим видом источают презумпцию виновности посетителей: за их излишнее любопытство к осточертевшим уже за много лет чучелам искусственных спутников земли; за свою жалкую пенсию, к которой нужно подрабатывать, часами просиживая на продавленном музейном стуле; за окостеневшие в памяти слова экскурсовода «Константин Эдуардович – отец русской космонавтики – построил макет этого дирижабля, изготавливая гофрированные листы на маленьком станке в своей домашней мастерской».

– Настя, выйди из сопла, – выполняя приказ музейной смотрительницы, пытаюсь поймать за ручку свою пятилетнюю дочь.

Дочка шумно топает внутри сопла поваленного набор ракетного двигателя, радуясь звонкому эху, что гуляет по параболической поверхности ошестинившегося трубопроводами и переполненного тысячами киловатт тяги музейного чудища. Произведено, как следует из таблички, на воронежском

заводе «Хим-автоматика».

\* \* \*

Если в Москве есть Кремль и Царь-пушка, то в Калуге – ГМИК (Государственный музей истории космонавтики) и периодически падающий на спину макет ракетоносителя «Восток». Впрочем, резиденция для царствующих особ в нашем городе тоже имеется. Ее перед своим уходом в прошлое построил первый секретарь обкома КПСС товарищ Кандренков. Построил – и был снят. Звали Кандренкова Андрей Андреевич. Потому его архитектурное детище горожане вскоре нарекли в точном соответствии с партийными святыми – «храм Андрея снятого».

После партийный дворец переименовали в обладминистрацию; потом – на американский манер – в «Белый дом». Вскоре очередной губернатор попытался от него отделаться, предложив сей выкидыш партийного зодчества одному из местных вузов. Но тот оказался ненужным и ему.

Короче – харизматичному ГМИКу за отсутствием в калужских правительственных покоях новой архитектурной державности пришлось исполнять обязанности «местного Кремля». Неустанно позируя на памятных календарях, открытках и сувенирных магнитах, увозимых с собой из Калуги туристами и командировочными. А также – родственниками из Сибири, Ленинграда и Тамбова, что по прибытии к нам в гости непременно препровождались на экскурсию в



музей: смотреть обгоревшую кабину космического корабля, на котором Валерий Быковский живым вернулся с орбиты; игрушечную кабинку на малых колесиках, в которой собачка Лайка так и осталась вертеться вокруг Земли; межпланетную станцию «Луна-9», что первой из десятка пущенных накануне в том же направлении не разбилась о Луну.

\* \* \*

Я не припомню, сколько раз за свою жизнь побывал в ГМИКе: с братьями, сестрами, племянниками, своими детьми и чужими, знакомыми и не очень. Был случай – в толпе послов каких-то африканских стран. Или – давным-давно.... Едва всплывает из памяти высокий лысоватый мужчина в длинном коричневом плаще почти до пят. Подступы к музею. Вокруг толпа. Мы ушли с уроков. Или – нас отпустили. Или – не было совсем. Красные цветы. Черные «Волги». Замешкавшаяся свита. Ничего не слышно. Только видно, как высокий мужчина в плаще добродушно улыбается и ждет, когда его поведут в музей.

То, что это был Нил Армстронг, первый человек, высадившийся на Луну, узнали много позже. Просто мы, пацаны, ходили смотреть, как в Калугу после очередного полета приехали космонавты (была такая традиция). На этот раз – экипаж «Союза-Аполлона». И в нем – высокий человек, запросто шагнувший с Луны сюда, почти под стены нашей школы, что располагалась недалеко от ГМИК.

\* \* \*

– Николай Григорьевич, расскажите, как вы «вошли в контакт с Гагариным», – прошу чуть ли не в сотый раз старейшего фоторепортера Николая Павлова рассказать «на бис» мою любимую историю, которую, честно говоря, знаю наизусть. О том, как Николай Григорьевич фотографировал Юрия Алексеевича при закладке первого камня ГМИК. Толпа народу. Дождь. Юрий Гагарин с мастерком. Размешивает раствор. Берет кирпич и, дабы половчее уложить его в основание строящегося музея... неожиданно поворачивается спиной к фотокорам. Те – в панике: горит бесценный кадр!

– И что вы тогда сделали? – предвкушая повторение коронной байки, в который раз тормозу память потрясающего старика.

– И тогда, – важно приосаниваясь, говорит Павлов, – я вошел в контакт с Гагариным. Подошел, тронул его за плечо и сказал: «Юрий Алексеевич, повернитесь, пожалуйста, лицом к нам, а то в кадр не попадаете».

– И что Гагарин?

– Представляешь, какой удивительный человек – добродушно извинился и мигом сделал так, как его просили. Мастерком, кстати, орудовал профессионально...

Вот уже полвека Павлов с нежностью разглядывает на своих фото улыбающееся лицо первого космонавта Земли. И всякий раз переводит взор на китель Юрия Алексеевича, по-

лучившийся на тех фото из-за дождя почти что в крапинку. Ретушировать не стал. Потому что запомнил его возле строящегося музея именно таким: простым, душевным, в перебивающихся каплях июньского ливня...

# Лыжи нашего детства

Запах смоленых лыж преследует с детства. Впрочем, поначалу они не смолились. Были толстенные, солдатские, с брезентовыми ремнями, заклепанными в стальные наконечники. Ремни охватывали детский башмак сзади. Закоченевшими пальцами просовывались через неподатливые ушки. Натягивались. И что есть мочи вдавливали носок в свирепо растопыривавший свою стальную пасть капкан. То были полужесткие крепления. Предназначавшиеся, вообще-то, для гремучих солдатских кирзачей. С детскими же ногами эти спортивные устройства обращались немилосердно, пребольно выворачивая стопу, лишь только ты задумывал буровить носом рыхлые сугробы.

По воскресеньям лыжная Калуга устраивала массовое паломничество в Крутицы. Еще не было «космической» лестницы, и самые отчаянные кидались на лыжах вниз от самого музея, дабы вдоволь набарахтаться, не начиная, собственно, еще и самого похода. Крутицкая лыжня брала отсчет от домика лесничего и некогда соседствовавшего с ним зимнего вагончика-буфета. Всегда слыла одной из самых бойких в бору. Двухколейка. С широкой пешеходной тропой и массой впадающих в главную лыжную артерию притоков. Покоряться она начинала не сразу, а частями. В зависимости от

возраста и мастерства покорителя.

Помню, в классе втором–третьем пределом мечтаний была развилка на смолокурне. Той, впрочем, уже лет семьдесят как след простыл, зато название осталось. А заодно с ним – и могучий коряжистый дуб, поджидающий крутицких паломников с примыкающего направления – от Заячьей горы и Подзавалья. У смолокурни оба потока сливались в один могучий лыжный вал, и тот дружно катился до следующего ориентира – Солнечной полянки. Туда уже на тяжелых солдатских снегоступах да с бамбуковыми палками в руках можно было добраться разве что к классу четвертому–пятому. Не раньше. Зато увиденное навсегда поражало воображение: ослепляющее мартовское солнце и мерно поворачивающиеся в его лучах, словно куры-гриль на вертеле, голые мужские торсы. И даже женские, в купальниках. Лыжный калужский люд впитывал здесь целебный ультрафиолет.

Затем крутицкий зимник решительно перерезал окружающую автотрассу и окунался в еще более дремучий лес. Впрочем, заблудиться в нем было мудрено – сзади долго подзуживали снующие между Анненками и Силикатным самосвалы, спереди все более давала о себе знать железная киевская магистраль. До лыжной Мекки – взобравшихся на заснеженные бугры Крутиц – было еще с полчаса мерного поскрипывания «полужестко» схваченных ботинок. Несколько просек. Пара ЛЭП. Тройка замысловато выписанных на снегу заячьих автографов. Лихой поворот. Спуск. И вот он, на самой

горе, – калужский Инсбрук. Самый, судя по всему, народный и неофициальный стадион областного центра. Ни разу в сводках не поименованный. Никем не обустраиваемый. Не финансируемый. Не претендующий, к слову, ни на то, ни на другое, а тихо зимующий этаким снежным отшельником на живописных крутоярах, бескорыстно притягивающих к себе по выходным тысячи паломников.

Годы реформ прокатились и по калужской лыжне. Она изрядно опустела. Куда-то сразу же исчезли вечно торчащие из снега красные флажки – вдоль них по бору то и дело мотались школьники, студенты и прочий полуспортивный люд. Навсегда сгинул вагончик-буфет. Там по выходным разливали горяченый чай и продавали бутерброды. Лыжный общепит пользовался невероятной популярностью у калужан, и главы семейств, как истинные добытчики, почитали за долг, сняв лыжи, втиснуться в сарай и побороться в честной борьбе за выгодное место перед прилавком. Самые удачливые вырывались из малюсенькой чайханы с кружками кипятка и кусками белого хлеба с тремя колесиками «Краковской». Проголодавшееся семейство тут же, на бревнах, устраивало радостный пикник. Затем выстраивалось в очередь, дабы прокатиться с главной горки у лесничества. После третьего падения главы семейство еще раз обходило кругом чайхану, отряхивало извалявшихся в снегу малышей и, разгоряченное и счастливое, отправлялось вон из бора.

Потом появился пластик. И коньковый ход. Классические

лыжные узкоколейки все чаще стали разрисовываться ровной «елочной» насечкой. Вход пошли лесные дорожки – по ним коньковое скольжение было особенно стремительным и красивым. Но «елочка» оставалась уделом профессионалов. Или полупрофессионалов. Или просто – не терпящей былой лыжной размерности молодежи. Та взялась, было, теснить лыжных «стариков» из заснеженных просек, но в последние годы силы выравнялись. Калужский бор вновь наполнился самой разнообразной лыжной публикой: старой и молодой, уважаемой (на дорогущих «фишерах») и не очень (на тех еще «сортвалах», что продавали в главном спортивном магазине на Ленина, 30, всего-то по 27 рублей 90 копеек за пару).

Ни пионерские лагеря, переделанные в фешенебельные лыжные заимки, ни сноуборды, ни снегоходные «Ямахи», ни специально подгадываемый разудалый автомобильный мордобой на яченских берегах – ничто уж, видно, не в силах сладить с по-стариковски теплым на прием и абсолютно бескорыстным на тысячи природных милостей калужским сосноградом. Его морозно-смолистый дух еще повскружит головы новым армиям румяных ходоков и опьяненных накрепко (обычно – на всю жизнь) привяжет к себе тонюсенькими ленточками белоснежных лыжных троп.

# Мой дед не читал Сэлинджера

Мне кажется, они бы могли встретиться. Не разминуться. На этом нашем маленьком шаре земном. Поскольку двигались навстречу друг другу. Одновременно. По одноименным параллелям. Схожими тропами. Дед следовал из Тамбова на запад. Сэлинджер – из Нормандии на восток.

Оба прошли преисподнюю. Дед – под Вязьмой. Сэлинджер – под Шербуром. Выжили чудом. Из дедовой роты уцелели трое. Сэлинджеровский полк немец покрошил почти что весь. Если есть Бог, то он про них помнил. «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя», – один шептал, другой записывал огрызком карандаша в сыром окопе.

Дед бережно хранил в коробке Красную Звезду и медаль «За отвагу». Сэлинджер не расставался со шкатулкой – в ней пять звезд и президентская благодарность за мужество. Содержимое коробки и шкатулки почти никогда не извлекалось.

До встречи в 45-м им оставалось немного. Большую часть навстречу они уже прошли. Дед встал под Берлином. Сэлинджер увидел Париж. Потом развернулись обратно. Сначала дед – в 45-м. Потом Сэлинджер – в 46-м.

Они были близки друг к другу. Насколько могут сблизиться тамбовский конюх и нью-йоркский аристократ. Кое-что



их, конечно, разделяло. Но это – мелочи. В главном они были едины. А именно: в ненависти к войне. Любой. В том числе – и победоносной. В том числе – выделившей их из сотен убитых однополчан. И только их одарившей жизнью.

Война их объединила в ненависти к себе. Дед ни в какую не желал распространяться на ее счет. Не прочитал о ней ни одной книжки. Наверное, потому, что ничего не написал о войне Сэлинджер. Тот также бежал воспоминаний об этом злом занятии. В том числе – косвенных, отвергая даже турпоходы только потому, что надо ночевать под брезентом. На земле. В сырости. То есть возвращаться в адский быт военного десанта.

Они эмигрировали с войны. Навсегда. Дед – обратно в конюхи. Затем – на пасеку. Сэлинджер – сначала в литературу. Потом – еще дальше. Но пути их не разошлись. Они продолжали идти навстречу друг другу. И продолжают, мне кажется, по сей день.

Мой дед не читал Сэлинджера. Не видел. Не знал. Негромко крестьянствовал. Жил и, думаю, верил, что есть рядом кто-то великий, кто может подойти и тихо положить руку на плечо. И помолчать. В том числе и о том, что не заслуживает слов. Помолчать и снова уйти. Незамеченным другими.

«Надо набраться мужества, чтобы стать никем», – закрывая за разрушительным честолюбием дверь, черкнет в блокноте бывший американский сержант – великий Сэлинджер. Бывший русский сержант – мой дед – с такой странной фор-

мулировкой бы согласился. Оба знали, что такое мужество и доблесть. И точно ведали, где их лучше в последний раз применить.

## **Письма из города К**

**\*\*\***

Гоголь приезжал сюда в поисках «живых душ» – писать второй том «Мертвых...». Каждое утро я мету под его окнами опавшую листву. Впрочем, окон не сохранилось. И дома – тоже. Но листва... Мне кажется, она помнит их шаги.

На этом месте была губернаторская дача. Очень давно. Когда вокруг них еще не ставили каменные ограды. У четы Смирновых таких точно не было. Гоголь жил в их домике запросто. Вставал в пять. Пил по утрам кофе. Смотрел на крутые Яченские берега, на бор и садился за рукопись. Ту самую, которую потом сожжет. На дворе стоял 1849 год.

С 1845-го Александра Осиповна была в чине губернаторши. У нас – в городе К\*\*\*. Тяготилась им. Жаловалась в письмах Николаю Васильевичу: «общество испорчено навеки». Гоголь утешал Смирнову-Россет: «Вы устали – вот и все!» И разъяснял своему задушевному другу, как бороться с усталостью. Увещевания впоследствии вылились в «Выбранные места из переписки с друзьями».

В 1849-м приехал лично. И поселился напротив. Я имею в виду – от меня. Каждое утро я прохожу мимо гоголевских пенат на службу. Подвизаюсь здесь же – на родине великой

русской литературы. Говорят, самой великой. Но подтвердить это, увы, уже нельзя – она сожжена. Здесь, так сказать, роддом второго тома «Мертвых душ». Но – не могила. И вообще: зачем он их назвал мертвыми?.. Может, оттого и не заладилось продолжение?..

Я почти слышу чтение таинственного второго тома. Один из самых немногих, кому посчастливилось. Поскольку служу рядом. Гоголь все любил держать в тайне. Изредка, правда, приоткрывая ее завесу перед самыми доверенными. И в первую очередь – перед ней, умной и проницательной советчицей Смирновой-Россет. Вон там, за теми липами, можно было отчетливо расслышать его голос. Вам интересно, какой он был, этот гоголевский тембр: высокий тенор или сочный баритон? Говорят, Чехов, такой интеллигентный и тонкий, разговаривал басом...

Наш город К\*\*\* не особенно знаменит губернаторами. Во всяком случае ни один из них не был причастен к рождению великих поэм. Даже – рассказов. Может быть – анекдотов... А вот с губернаторшами – другое дело. Яркой супруге невыразительного Смирнова удалось примагнитить великие литературные творения. А заодно – и их творцов. Правда, уйти после этого в небытие: в нашем городе К\*\*\* никто нынче и не вспоминает о губернской предводительнице литературных гениев – Смирновой-Россет.

О ее сердечном друге – Гоголе, впрочем, помнят. Памятник вот соорудили на месте, где Николай Васильевич гостил

у губернаторской четы. И прочитал ей наиболее полный вариант уничтоженного впоследствии шедевра. Грустный какой-то памятник получился. И мрачный. Как будто Гоголь в городе К\*\*\* не родил великую книгу, а поджег ее. И тут же умер. Но могилы Гоголя в нашем городе К\*\*\* нет. И слава Богу. Есть, правда, рядом другая – Циолковского. Но Константин Эдуардович своими рукописями печку не растапливал. Знал, наверное, что не горят...

Короче, в нашем городе К\*\*\* есть местечко, где еще витает дух обнародованной здесь и якобы уничтоженной где-то далеко великой книги. Я каждое утро обметаю вокруг опавшую листву. Так – на всякий случай. А то явится писатель да на пару с губернаторшей и укорят: плохо приглядывали, заботами обошли – оттого и не сохранили. Не беспокойтесь, Николай Васильевич, не переживайте, Александра Осиповна, сберегаем...

# Авангард на улице Кая Брута

Они не стали Ньютонами и Шекспирами. Не обрели профессорских мантий. Даже кандидатский минимум им, похоже, не поддался. Рутинному пересчету недостижимых звезд они предпочитали их дерзкое приближение. Один – в слове, другой – в небе. Стискивая расстояния до вождельных светил, до одухотворенных морфем, торопили время. Ломали устоявшиеся формы. Создавали новые. Сделались модернистами: один спонтанно, другой нет. Прослыли чудаками, самоучками, эгоцентристами...

Шкловский тщился вернуть человеку слово. Не узнавать вещь, названную им, а всякий раз ее заново рассматривать. Чувствовать, вживаться, осязать. Достраивать утраченные фразы. Довыговаривать потертые слова. Непременно запуская, таким образом, механизм искусства. То есть тесня словесным творчеством автоматическое восприятие вещей. Воскрешение слова – главное, чего добивался этот бритоголовый гиперактивный лингво-революционер. Попутно, правда, беря в руки винтовку и усаживаясь с прокуренными матросами на революционные броневики. «Так пропадает, в ничто вмениясь, жизнь, – отчаивался за потери в словесности (и не только в ней) Шкловский. – Автоматизация (восприятия) съедает вещи, платье, мебель, жену и страх вой-

ны».

Циолковский авангард с оружием в руках не продвигал, но жаждал не меньшего – вручить человеку космос. Заставив обывателя поднимать глаза к небу не только из любопытства – брать зонт на улицу или не брать? – а еще и из необходимости знакомства с будущим местом проживания. Именно там, в космосе, только и можно искать счастье, утверждал этот плохо слышавший калужский бородач. Оно неуловимо на земле, учил космический пророк, но вполне достижимо ближе к звездам. «Если судить по Земле, – грустно признавал Циолковский, – то безумие управляет Вселенной, или, по крайней мере, можно сильно сомневаться в разумности мира».

Короче, они не могли в этой жизни не встретиться – два великих самоучки, разнополярных модерниста, генетических ниспровергателей гибельных основ – Шкловский и Циолковский. В начале 30-х годов прошлого века первый приезжал в Калугу писать киносценарий о втором. Долго беседовал. Записи, естественно, потерял. Фильм не снял. Лет через тридцать вспомнил некоторые подробности и записал: «Плачут по великим после».

Они обсуждали подробности бесед с ангелами. Будущие падения стратостатов. Минувшее – внука калужского космиста в навоз. Квашение капусты. Долги Циолковских соседям. Ближайшие полеты в галактику: скоро ли? «Мы вряд ли, – записал Шкловский предвидения калужского старца, –

а комсомол наверняка полетит». Не обсуждали бедность, царившую в доме на краю улицы Кая Брута. Прошлые и будущие трагедии с собственными детьми. Минувшие и грядущие тяготы Отчизны. Все страшное должно вскорости окутаться правильным «вычислением мечты». Сердце мечты усиленно колотилось о грудную клетку модернистов. Все быстрее и быстрее. «Поэты и ученые – оптимисты, – закончит рассказ о своем космическом визави Шкловский, – они знают сроки, но они торопят время».

# На Николу

Старый пазик, кряхтя, выбирает остатки турынинского серпантина. Вползает на вспыхнувшие цветущей вишней взгорки. Скатывается с них, выгоняя из-под колес душную майскую пыль. Прислоняется поочередно к бордюрам, выпуская из себя остатки городских пассажиров на волю.

Впереди, за рекой, уже маячит конечная – Ждамирово. Точнее – уходит оттуда в небо острой мачтой колокольни церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Каждый раз она величаво проплывает в автобусных окнах, тихонько покачиваясь в дальней пучине деревенской листвы. Опять не зайду...

На предпоследней остановке автобус вбирает в себя торжественно стучащих палками и озабоченных чем-то явно не сиюминутным старушек. Те шумно восходят внутрь, устраиваются на сиденья, одергивают просторные юбки и ослабляют душевные узлы ярких платков. Затем поочередно ищут глазами купола ждамировской обители. Жарко обмахиваются в их сторону троекратным крестом. «Никак, на утренню», – думаю про себя, возвращаясь взором к белоснежному храму.

– Никола сегодня. Праздник. Николая Угодника, – едва переводя дух после покорения автобусных ступеней, оповещает кондуктора одна из новых пассажирок.



– Вот те на. Праздник, оказывается, – радуется нечаянно-  
му разнообразию унылых разъездов немолодая кондукторша  
в трениках. – Глохнешь тут на работе.

Ей хочется что-то еще спросить у ветхих паломниц.  
Взгляд ее из тупо-сосредоточенного делается умильным и  
живым. Она скидывает с себя обычную дремоту. И встряхи-  
вается, точно вышедшая из пруда утка. Явно рада погово-  
рить по душам.

– Милай, – опережает душевный порыв кондукторши ба-  
бушка с тростью, заглядывая за водительскую занавеску. –  
Сделай божескую милость, доставь нас хоть еще чуть лишку  
– до поворотика. А то ведь ноги-то не шагают. А там мы по  
дорожке до церкви и сами добегим.

Автобус с ходу проскакивает последнюю остановку и, рез-  
во поплутав в деревенских закоулках, попрыгав по случай-  
ным камням и едва втиснувшись в оконечный тупичок у цер-  
ковных ворот, послушно замирает.

– Дай Бог тебе здоровья, – набирает побольше воздуха  
в грудь прежняя просительница и продолжает им выдыхать  
здравицы в адрес сердобольного шофера все то продолжи-  
тельное время, что высаживается на улицу. За ней следуют  
остальные богомолки.

– Значит, Бог сам привел. Как не зайти?.. – протягиваю и  
я 22 рубля за нечаянно удлинившуюся поездку.

Мне всегда нравилась эта церковь: «восьмерик на четве-  
рике». Белая, воздушная, большая и невесомая. С запасом

простора. И внутри, и снаружи. Как в море. Строилась, перестраивалась, рушилась, обезглавливалась, восстанавливалась вновь и плыла по южной конечности Калуги дальше. Неся в себе незримый стержень и узримый образ Калужской Божьей Матери. Ту, что с раскрытой книжкой.

Прихожане. Лавка. Записки. Свечи. Протягиваю деньги: три. В спину кто-то толкает. Отодвигает прочь. Вижу – моя прежняя попутчица с тростью. Подминает и следующего в очереди.

– Мы вместе, – сердито бросает окружающим и воцаряется во всей лавке разом. Писать записки.

На Николу в храме оказалось всеж-таки немногочисленно. Микрофонное эхо разносит под сводами слова Евангелия. Над пюпитром с Писанием – согбенная фигура монахини. Иные кладут поклоны рядом. Храм – на попечении Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. Черные крылья облачений Божьих невест то здесь, то там тихо проплывают по воздуху. Из Царских врат выходит молодой священник с видом чиновника обладминистрации: гладкий, в роговитых очках и ухоженной бородке. Вокруг устанавливаются еще большее сосредоточение и благодать. Захотелось найти глазами Калужскую Божию Матерь с книжкой.

Вместо нее натыкаюсь взором на все ту же попутчицу с тростью. Бабка, ввинтившись грузным корпусом в толпу, яростно божится на Николая Угодника. Отбрасывает каж-

дым следующим поклоном стоящих за ней притихших прихожан. Перебирает губами в молитвенном ритме. Наотмашь кидает щепоть правой руки, воинственно обозначая тем самым крестное знамение. Источает всем видом своим грубое торжество, сильную любовь и беспощадную веру.

Мне становится грустно. Под куполом по-прежнему бродит эхо божественных строк. Оно поднимается все выше и выше. Пока, наконец, не перестает ощущаться вовсе. Я выхожу на улицу и иду к своему дому еще пять километров пешком. По тарусской трассе поднимаюсь в гору. Срезаю путь по ощетинившемуся зелеными полю – широкому и стелющемуся мягким одеялом между дорогой, лесом и эхом колокольного храма Рождества. Оборачиваюсь на праздничный звон. Срываю робкую ячменную былинку. Кладу в рот. И чувствую будущий терпкий вкус восходящей на Николая Угодника новой жизни.

# Оптинские стансы

С одной стороны он зажат малюсенькой станцией Тупик, ближайшей к краеугольной Оптиной. С другой – затерянным в сосновых лесах Шепелевом. Посередине – петляющая меж чахлах сосен и перепрыгивающая неглубокие ручьи неэлектрифицированная однопутка. Связывает калужские и тульские железнодорожные задворки. Нет-нет да и прогремит по ее стыкам товарняк с химикатами или тяжеленным литьем, пропыхтит рабочий или дрезина, а то объявится вдруг откуда ни возьмись международный. Скажем, Минск – Алма-Ата. Или так: Караганда – Брест.

Экспресс объявляется где-то в полдевятого утра, когда мы аккуратно выгружаем из нашего путейского КамАЗа ломы, лопаты, модерон... Взрывает на десяток секунд благословенную тишину, дабы вновь надолго погрузить в нее намоленную округу. «Окно» в этой глуши – будь здоров. И поезда частыми нашествиями ни нас, путейцев, ни поселившуюся тут же в околооптинском сосняке братию скита во имя благоверного Дмитрия Солунского не донимают. Мы меняем здесь шпалы. Деревянные – на бетонные. Вооружение: ломы, лопаты, вилы, лапы...

Полдюжины шпал здесь, полдюжины – дальше по перегону, а там за «свистком» – еще три раза по шесть, потом дре-

зина сгрузит еще десятка три–четыре. Потом – еще...

– Чистим «ящики»! – звучит команда, и путь быстро расцветивается оранжевыми гроздьями путевских жилетов, дружно нависшими над изношенными стыками.

Выковыриваем щебенку между порченных шпал. «Ящик» постепенно углубляется. Шпала вырастает из земли. Возвращает себе форму бруса. Щебень отгребается в сторону: деревянной шпале нужно освободить дорогу в кювет, на покой; новой бетонной – на ее место, в работу, держать рельсы с составами. Освободившись от костылей и пыхнув на прощание креозотом, старушка, подхваченная клещами, быстро сползает за насыпь. Ее бетонная сменщица, предвидя непочатый объем работы в ближайшие лет двадцать, отчаянно сопротивляется и ни в какую не желает подставлять свои плечи под рельсы.

– А ну, мужики, подходим, не стесняемся! – бригадир трясет длинной цепью, одним концом «заарканившей» непокорную, в два с половиной центнера весом тушу. Цепь раздувается в оранжевую гроздь. Это – наши согнутые в напряге спины в жилетах. На «и-и-и раз!» отчаянно рвем цепь со шпалой на себя. Та подпрыгивает, вгрызается в щебень и замирает. Разгребаем и опять: «И-и-и раз!» С четвертого–пятого рывка вталкиваем на место, в освободившийся «ящик». Далее – крепеж и засыпание щебенкой. На финише – «штопка»: машешь себе ломом, загоняя щебень под потревоженные стыки...

Чахлый Оптинский бор одаривает скупыми порциями крепких смолистых отдушек. Теплый ветер бросает их на нас с Наташей с ближнего мшистого пригорка, утыканного тонюсенькими сосенками. Ветерок сдувает с Наташиного лба легкую прядь, чтобы, поиграв с ней секунду-другую, мягко опустить на потные виски. Белесая прядь быстро напивается влагой и, потяжелевшая, упрятывается одним верным женским взмахом под кепку или за уши.

Передо мной снуют загорелые Наташины локти – упругие и красные, точно сицилийские апельсины. И вся она – крепкая и ладная в хрустящих башмаках молотобойца и охватившем ее покатые сильные формы синем комбинезоне, точно наэлектризованный шар, мечет вилами в стороны щебеночную пыль попеременно с камнями. Обходя, однако же, редкий скребок солоноватым, точно струящийся по лбу пот, путейским назиданием: мол, вошь ядреная...

«Да, эти зэчки – тоже мне... – косится на подружек старина Бореев. – Их за 101-й тогда закидывали. Больше-то кто с кувалдой на железку пойдет». Долговязый Бореев – завзятый сплетник. Едкий и довольно вредный – точно выкуриваемый им по пачке в день «Беломор». Учился в институте. Потом подвизался по культурной части – служил, говорят, в исполкоме. За квартиру ушел стучать кайлом и заодно, видно, и на своих друзей. Так – от скуки...

«Козел», – беззлобно выдыхает Натали и, пружинисто распрямляясь, опирается на отполированный крепкими ла-

доньями черенок тяжелых вил. Ими еще ковырять и ковырять – одну шпалу только откопали, а надо – шесть. Отрыть, расшить, вытащить и поставить новые. Через два часа – товарняк.

«Давай, давай, Ленька, шустрой!» – это она мне. Колобок неугомонный. Румяная, громкая, ядреная – на Оптином-то захудалом перегоне, точно молния шаровая с треском перекачивается. Молотит себе вилами по насыпи, и все ей нипочем. А я и так уже футболку скинул. Лямки от комбеза по обгоревшим плечам трут. Гребу лопатой. Мокрый весь. Щебень этот чертов и духота проклятая...

Наташа бросает вилы: «Ну, харе, Ленька, перекур». И угощает теплым компотом. Мы садимся на поваленную возле насыпи сосну, и она рассказывает, как еще с брежневских времен сделалась путейцем. С тех пор: лопаты, вилы, кувалды, костыли... А я их забивать так и не научился.

«Что, серьезно?» – разочарованно глядит на меня по-детски наивным взглядом путейская мадонна, встает, и, отерев крепкие ладони о пыльные штаны, вытаскивает из кучи инструментов кувалду и костыль.

«Гляди!» – решительно придавливает его двумя пальцами к чумазой шпале Натали и взмахом молота загоняет по самую шляпку в деревянную утробу.

В обед хорошо вытянуть ноги на траве. Жара. Слышен густой сосновый дух. Сосны тут повсюду. И речка Сосенкой зовется, да и деревню заодно с ней тоже Сосенкой величают.

«А сруб могучий в ските – тоже наверняка сосновый», – думаю про себя, направляясь туда за водой.

– Старец Илия сюда часто наведывается, – поясняет смотрительница, давая напиток. – В Оптиной раньше служил.

Знаешь, кто он?

– Ну...

– Духовник патриарший – вот кто. Народу-у-у... Все к нему – кто к руке приложится, кто в ноги упадет...

– Да, упадешь, коли прижмет... Красиво тут у вас отстроили!

– Что вы, еще не закончили. Помощь нужна. Дороги, например, нет. Не поможете с дорогой-то? – бегло оглядывая мой рабочий комбинезон, вопрошает смотрительница.

– С дорогой? Пожалуй. Но пока только – с железной...

Послеобеденный зной насквозь прошивается ревом оводов. Ловчей отмахиваться от них лопатой. Или – ломом. Вроде дело делаешь – щебень из ящиков гребешь, а заодно и тварь эту в движении смахиваешь. Рубашка быстро тяжелеет от пота. Соленые капли переползают со лба на веки. Соль дерет глаза. Очередная бетонная туша ждет своей очереди быть затянутой под рельсы. Вновь над лесом звучит дружное путейское «и-и-и р-р-раз!». Скрежет щебня. Пыхтение полдюжины мужиков. Наташины команды. Мелькание лопат, ключей, болтов. И новая шпала заступает на многолетнее дежурство на глухом перегоне.

Парит все сильней. Назревает дождь. Овода, подстегнутые



свежим ветерком, наконец, присмирели. Чуть дохнуло спасительной прохладой. Брызнули первые капли. И за ними с неба выпростался могучий летний поток. Спасаться от него нет никакого смысла. Мы с Наташей продолжаем грести вилами каменную хлябь. Старина Бореев недолго мнетя и топает к машине. Мужики чвакают ботинками и звенят ломами. На перегоне по-прежнему слышен шум разгребаемого щебня.

Набрякшую водой робу снимаешь уже в кабине путейского вездехода, пока тот вскользь Оптиной усердно гребет тремя мостами к дому.

– Гляди, церква – какой день уже мимо нее шныряем, – кивая в сторону выплывших из-за поворота оптинских куполов, отжимает на пол измокшую рубаху Миха-Чапай. Здоровый малый, десантник, кулак с горшок, но попов не любит. «Жадные», – говорит.

– Сам ты – церква... Монастырь, – осекает кто-то из наших. – Книжки читай.

– Читал уже, – устало огрызается Миха, – не помогает...

– А ты – по слогам...

КаМАЗ то и дело ныряет из одной топи в другую, мерно переваливается через трухлявые пни, кидает резко в стороны пейзаж за окном, то приближая качающиеся над соснами купола, то отдаляя их прочь в туман и дальше к тучам. На самых тряских ухабах слышно, как стонут рессоры измученного тягача, тревожно всхрапывает сборотый усталостью

могучий Миха, и точно малые зазвонные мелодично воркуют в утробе тряской будки ломы, лопаты, модерн...

# Лацис

Из альбома выпало старое фото. Калужский краеведческий музей. Вечер. Зажженные свечи. Счастливые лица. Лацис радостно жмет мне руку и вручает свернутый напополам листок. Помню, в нем был забавный стих, а может, пародия – на меня. Или – на мои газетные вирши. Кажется, все это дело сочинил Бабичев. Игорь – на фото справа и хмыкает себе в бороду.

Мы отмечаем юбилей «Калужских губернских ведомостей». Последний, когда газета была еще свободной. Год, кажется 2003-й. Но в уютном зале уже звучит «Обливион» Пьяцоллы. Через два года на Калужском шоссе Лацис попадет в аварию. Его редакционный кабинет в Малом Калужском переулке в Москве опустеет.

Еще через два года не станет Бабичева. За ним следом умрет и свобода в калужских СМИ. Потом ту журналистику, что представляли эти люди, – Лацис – в целом в России, Бабичев – в отдельно взятой Калуге, – нарекут «эпохой Лациса». Я не знаю, как односложно объяснить этот термин. Найти ему синоним. На ум приходит только одно слово – достоинство. Его не стало.

Скорее всего, их сближала одна альма-матер – журфак МГУ. Этакая кузница смыслов – тогда. Окончили они ее в

разные годы. Впервые Лациса увидел в нашей редакции в конце 90-х. Четвертый этаж Калужского дома печати. Бабичев привел его в наш кабинет и попросил напоить чаем. Лацис скромно сел на подставленный стул и одернул серый пиджак с воткнутыми в нагрудный карман авторучками. Ничто не выдавало в нем бога отечественной публицистики. Золотое перо. Апостола и пророка. Просто – сосредоточенный, профессорского вида человек в очках.

Я пытался заинтересованно спрашивать, но не помню, о чем. Лацис размеренно и подробно отвечал, но помню, что – сохраняя дистанцию. Так мы и беседовали: я не дышал, Лацис говорил. Он был в составе нашего редакционного совета. И значился в титрах нашего маленького провинциального еженедельника. Бабичев ему иногда звонил. Лацис изредка приезжал. В один из приездов взял меня с собой брать интервью на «Турбоконе». Точнее, даже не взял, а меня к нему приставили. Мол, ходи хвостом и учись.

И я ходил, и понял главное: настоящая публицистика – Эверест. Взойти на него дано не каждому. И даже глядя, как это делает мастер, все равно не разгадаешь секрет. Потому что кажется, что никакого секрета нет – сиди и записывай. И не на диктофон, а в ученическую тетрадку. Лацис доставал из внутреннего кармана пиджака 2-копеечную тетрадь в клетку, снимал колпачок чернильной ручки, и начинались вопросы. О том, как жить. А заодно, как починить отечественный экономический механизм. Весь целиком. Хо-

ты «Турбокон» занимался механизмами другого сорта – турбинными. Но и в них Лацис пытался отыскать те составляющие, что отвечают за экономическую крепость державы. О ней он, кажется, думал всегда.

Он был экономист. Пишущий. Или – писатель. Экономический. С дипломом журфака стал доктором по экономике. Точнее – по одной из них – посттоталитарной. Со Сталиным не церемонился. С его экономической машиной – тоже. Партия его «поправляла». Хотя и не так, чтобы чересчур зло – всегда оставляя «на плаву».

Лацис обнаруживался то в Институте экономики мировой системы социализма. То в компании с Мамардашвили и Карякиным в прибежище неблагонадежных советских философов – журнале «Проблемы мира и социализма». То на пару с Гайдаром – в еще менее благонадежном, позднем журнале «Коммунист». Затем – с Голембиовским в «Известиях». Сначала – в обычных, потом – в новых. Выдвигался даже в ЦК КПСС. Ему внимали. Летал высоко. Даже очень. Но никогда не прислуживал. Это раздражало.

Его тихий голос слышали все. Он был негромок, но убедителен: что для домохозяек, что для президента страны. Сегодня в полемике побеждают голосовые связки. Или – пропагандистский ресурс. В «эпоху Лациса» побеждали доводы. Культура дискуссии. Человеческое достоинство. То, что нынче решительно отброшено.

Его книжку «Выйти из квадрата» я прочитал от кореш-

ка до корешка. О том, как работала советская экономика. О том, как она умела работать. О том, что это умение можно было бы развивать, а не сворачивать. Идти вперед, а не назад. О том, как в послевоенные годы мы стали лидером по экономическому росту. О том, почему мы перестали этим лидером быть...

В одно из заседаний Клуба региональной журналистики я повстречал Отто Рудольфовича в Москве. Как рядовой репортер он скромно сидел в зале и слушал. Я подсел и передал привет из Калуги. Он рассеянно кивнул. Был явно чем-то озабочен. Оказывается, вышла его новая книга. Дабы привлечь читателя, издатели назвали ее слишком дерзко – «Тщательно спланированное самоубийство». О том, как развалилась КПСС. Лацису название не понравилось. Но сделать уже было ничего нельзя.

Я эту книгу так и не прочитал. Не знаю – почему. Мне кажется, в ней будет очень много сердечной боли. За то, как умерло то, чему ты был верен. Чему не изменил, хотя и не воспрепятствовал. Потому что – не смог. Как не смог создать идеальный механизм функционирования свободы слова. Мучительные расколы в «Известиях», вспыхнувший и угасший «Русский курьер», финальный уход в «Московские новости» – пройденный Лацисом трудный газетный путь так и не вывел его к желанной цели – создания свободной, независимой от госаппарата и олигархов прессы. Сегодня эта стезя и вовсе табу.

Редко-редко, но я беру и перечитываю публицистику Лациса. И каждый раз – все с большей горечью. С ощущением стремительно углубляющейся пропасти между тогда и сейчас. Между настоящей журналистикой и той, во что она превратилась после. Когда такое качество, как достоинство, перестало браться в расчет. Когда профессионализм и порядочность в прессе – в изгоях.

В последний раз я так и не смог встретиться с Лацисом. Я хотел зайти в Москве к нему в редакцию в Малом Калужском переулке. Передать какой-то материал. Мне сказали: оставьте на вахте. Я оставил. Вышел на улицу. Дошел до стен Донского монастыря. Взглянул на окна своего родного Дома Коммуны. Побродил по знакомым со студенческих лет улочкам. Задумался о том, что все в жизни проходит. Плохое проходит, но и хорошее – тоже. Отправился на Киевский вокзал. Сел в электричку. И вернулся в Калугу.

Старое фото с Лацисом и Бабичевым я снова вставлю в альбом. Не знаю, достану ли когда-нибудь еще...

# Школа игры на аккордеоне

По сути, он мой ровесник – этот перламутровый «Вельтмейстер» на 3/4, что отец купил, когда служил зампотехом танковой роты в Потсдаме. Дело было сразу после эпатажного закрытия восточными немцами границ Западного Берлина: с нервами, танками, замурованными окнами первых этажей зданий и сооружением будущего символа расколотой нации – Берлинской стены. В это беспокойное время вместе с аккордеоном в семье появился и я. С тех пор мы с моим другом не расставались. Хотя и общаемся нерегулярно.

Школьником мучил соседей по дому арпеджио, гаммами и бесконечными этюдами какого-то Черни. Возил зачем-то в рюкзаке на лето в деревню. Таскал на экзамены в музыкальную школу – та располагала вечно кашляющими и отчаянно сипящими инструментами калужской фабрики «Аккорд». Растягивал дома меха, уже будучи взрослым, когда ни с того ни сего наваливалась грусть, и пальцы, тихо поглаживая гладкие клавиши, сами собой отыскивали на клавиатуре «В лесу прифронтовом». Или, напряжинившись, кидались опрометью с одной октавы на другую, выбивая, точно чечетку, жгучую «Смуглянку».

Порой я сильно охладевал к инструменту и тогда превращал свой «Вельтмейстер» в гантель – поднимал по утрам че-



модан с аккордеоном в качестве зарядки. Это продолжалось до тех пор, пока отец, глядя на мою размолвку с музыкой, однажды не купил мне пудовую гирю. Та выполнила свою миротворческую миссию – «Вельтмейстер» вскоре вновь обрел голос, а мои пальцы – ля-минорные импровизации. Ноты я не любил. С детства. Как не любят строгих учителей: внешне трепещут, но в душе преклоняются.

Таковым для меня был автор главнейшей в СССР «Школы игры на аккордеоне» – Альфред Мирек. Все пять нескончаемых лет учебы в музшколе этот таинственный и всемогущий Альфред нависал над попитрами точно грозно взирающий на нас, мучеников гамм, с потолка Сикстинской капеллы седобородый всевышний. Я знал, что это – аккордеонный бог. И именно он, а не мы, заставляет звучать наши аккордеоны эталонным звуком. То есть ровно так, как они поют свою «*Sous le ciel de Paris*» в кафешках Монмартра.

Короче, Мирека я боялся. Но внутренне чувствовал тягу к этому аккордеонному мудрецу. Потому что, во-первых, доверял своему другу «Вельтмейстеру», которой, точно знал, никогда не пойдет за тем, кто способен научить неверному звуку. И я подчинился свободному и, если угодно, по-французски легкому и прозрачному звучанию своего аккордеона. Его весенне-капельному настроению, задушевной интонации, откуда ни возмись слетевшему на клавиатуру парижскому акценту – короче, всему тому, что незаметно вдохнул в самый свободолобивый инструмент наш советский аккор-

деонный бог.

Он, этот бог, как я выяснил впоследствии, был далеко не советский. По сути – диссидент. Многолетний узник ГУЛАГа. Стойкий критик тоталитарной системы. Одновременно – отменный музыкант, педагог, историк, доктор наук. Короче, все пять лет в советской музыкальной школе мы учились по каноническому учебнику, написанному упрямо-открытым антикоммунистом, антифашистом и поборником христианско-демократических идей Альфредом Миреком. И это в брежневскую-то эпоху...

Конечно, в детстве я того не ведал. Исправно таскал мировскую «Школу игры на аккордеоне» на занятия по специальности. Тужил, когда приходилось «пилить» из нее гаммы, радовался, когда попадался Дунаевский. В досаде забрасывал надоедливый учебник далеко в шкаф. Долго не доставал. Даже терял одно время. Вновь находил. Опять листал. Устанавливал пюпитр, щелкал чемоданными застежками и расчехлял инструмент. Клал руки на клавиши и слушал предписанную педагогом и подхваченную аккордеоном тему. Проверял на слух: верна или нет? Свободна или не очень? Правда или не совсем?..

Школа игры на аккордеоне... Она не закончилась с получением аттестата. Я продолжаю пребывать в ней прежним учеником: старательным и по-детски доверчивым, почтительным к мэтрам и насмешливым к их назиданиям одновременно. Ничего не изменилось во мне с тех пор. Раз-

ве что чуб с проседью. И все прислушиваюсь к голосу вровень постаревшего со мной верного друга «Вельтмейстера». Хрипотца в тембре – переживем, в главной бы мелодии не сфальшивить...

# Сашичка

Он же – господин Седой, или некто Гусев, также – велемудрый секретарь, журнальный лилипут, алкоголизм, инфузория, владыко, голова садовая, или проще – безнравственный брат, бедный родственник. Или – совсем просто: ненастоящий Чехов... Столькими именами (впрочем, это только часть их) удостоил своего фонтанирующего талантами и всяческими безрассудствами старшего брата наиболее привязанный к нему из чеховского клана средний брат Антон. Александр Чехов – самый гениальный, как утверждают многие чеховеды, из семьи великого русского писателя. Может быть, даже способней самого Антона Павловича. Не исключено, что так...

Столькими талантами одарила его природа, что трудно их все сразу и пересчитать. Впрочем, счет этот надо всякий раз удваивать: на каждую Богом данную искру бурлящая натура Александра Чехова ответствовала прямо противоположным затмением дьявола. Во всяком случае ни одно из уникальных дарований Александра, могущее его превратить хоть в маститого химика, хоть в знатного лингвиста или, скажем, из противоположных отраслей – орнитолога, музыканта, повара, художника, мецената – ни одно из них, повторяем, не реализовалось в полной мере и позволило себя поправить, по

сути, одной непобедимой на Руси напастью – алкоголем.

«Ненастоящий Чехов! – по установившейся между братьями традиции иронизировать в очередной раз адресуется в письме к своему «проблемному» старшему брату Антон. – Как Вы себя чувствуете? Пахнет ли от Вас водочкой?». Последняя, с небольшими, в общем-то, перерывами была своеобразным фоном существования даровитого первенца чеховского семейства. Александр первым из Чеховых пробил дорогу из заштатного Таганрога в столицу. В Московский университет. Естественное отделение: математика, физика, химия – энциклопедические наклонности Александра прились тут как нельзя кстати. Он научился разбираться во всем. Впрочем, неугомонный нрав и тяга к Бахусу не дали этим наклонностям выкристаллизоваться во что-либо путное – Александр то и дело менял курс, перескакивая с одной специальности на другую. Бурлил. Метался...

Первый из неимоверно писучих Чеховых стал публиковаться. Проторил дорожки в массу газет и журналов. За руку повел вступившего позже на эту стезю брата Антона. Напутствовал и поучал по первости зеленого еще тогда сочинителя. Вскоре Антон сам уже стал устраивать в письмах мастер-классы старшему чрезвычайно талантливому, но заброшенному по жизни Александру. «Подчеркни ты, сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство, – наставлял Антон на литературный путь Алек-

сандра. – Ты на это способен... Ведь ты остроумен, ты реален, ты художник... Умеешь так хорошо смеяться, язвить, надсмехаться, имеешь такой кругленький слог, перенес много, видел чересчур много... Эх! Пропадает даром материал... Из твоего материала можно ковать железные вещи, а не манифесты. Каким нужным человеком можешь ты стать!»

Старший прислушивался к младшему. Даже будучи семейным. Даже пережив смерть дочери, смерть жены, вдовец с двумя малыми хулиганами на руках, избороздивший в поисках куска хлеба скучнейшие таможенные ведомства российских окраин, не особенно успешно призраивавший свои рукописи в журналы, переполненный взрывными идеями и их скорым фиаско, регулярно уходивший в запои, между которыми успевавший совершать благороднейшие поступки вроде учреждения приюта для таких же, как он, бедолаг-алкоголиков, от чрезмерных возлияний внезапно ослепший и чудом прозревший вновь, обретший второй брак, родивший в нем третьего сына, гения – Михаила – все равно этот Сашечка, как ласково звал своего старшего брата Антон, всегда с нетерпением ждал от того писем. И нередко исповедовался Антону (и только – ему) сам.

«Возьми на себя труд проследить мою жизнь, – объясняется Александр в одном из трехсот написанных Антону потрясающих по стилю, меткости и глубине посланий. – Что она мне дала? До 20 лет порка, замки, «без поросся», лавка, прогулка в казенном саду, как именины, как благосты-

ня, ниспосланная откуда-то свыше. Студенческие годы – запуганность, вечный страх III Отделения, подавленность от «без парасей» и Крайзлеров. Шатанье с факультета на факультет и полное незнание жизни. Строгий запрет дома, свобода шататься по Москве..., пивные экскурсии, братья Третьяковы и, наконец, – естественник, основательно изучивший химию, никому не нужный...»

Собственно, невостробованность, нереализованность такой мощной натуры, как Александр Чехов, и стала главной темой жизни старшего брата великого писателя. Пожалуй, единственным серьезным поприщем, на котором Александр сумел обессмертить свое имя и достичь соответствующих своему таланту высот, стали письма младшему брату Антону. Любимейшему корреспонденту. Тот, в свою очередь, не мог обойтись без переписки со своим «непутевым», но умным, честным и чрезвычайно порядочным родственником. Способным также преподнести уроки житейской мудрости ставшему уже при жизни великим Антон Палчу.

«У тебя позеленела шляпа и отвалились подметки, – глубоко вздыхает в письме более преуспевающему, но, тем не менее, столь же душевно неустроенному брату старший – Александр, – а у меня до сих пор ни белья (самого необходимого), ни приличного костюма, ни сапог, ни пальто. Все это в порядке вещей. Но все это не беда: хуже всего то, что нравственный мир не в порядке. Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому... Глубоко тебе в этом

сочувствую всем сердцем. Всею душою, ибо и я не счастливее тебя. Когда-то и я бился, как птица в клетке, но потом гнойник как-то затянулся. У меня тоже нет друзей и делиться не с кем. Тяжело это, очень тяжело, но ничего не поделаешь».

Оба брата были, по сути, одиноки в кружащей их людской канители. Старший Александр – в многолетней редакционной нововременской кутерьме, в хлопотах по семье и безуспешных исканиях душевного уюта. Одиночество младшего Антона, по сути, было схожим – только в гораздо более крупных масштабах, а потому тщательней скрываемое, нежели у бесшабашного любимого родственника. Они искали друг друга. Искали всю жизнь, которая подчас их разводила на недолгий срок. Но вскоре вновь сказывалась сердечная привязанность, и долгий диалог двух великих собеседников продолжался.

«Кто бы мог подумать, что из нужника выйдет такой гений? – искренне радовался очередному талантливому сочинению беспутного брата смешливый и проницательный Антон. – Твой последний рассказ «На маяке» прекрасен и чуден. Вероятно, ты украл его у какого-нибудь великого писателя... Ослепительная искра во мраке невежества! Умное слово за 30 глупых лет!..» Эти «глупые», как определил их Антон, годы особенно резко контрастировали с теми искрами таланта, что то и дело высекал Господь из неумемной Александровой природы. Следы этих искр легко прослеживаются и



в переписке братьев, где старший легко переходит с русского на немецкий, с немецкого – на французский. Или – полностью строчит письмо на латыни. Когда совсем скучно – ударяется в старославянский. Потом – в греческий. Сдабривает все это лингвистическое блюдо украинской мовой. Плюс – химическими формулами. Плюс – экскурсами в кладовые последних научных открытий. Чтобы закончить рассказом об экспедиции за наблюдением солнечного затмения, в которой вся делегация напилась до положения риз и никакого затмения, естественно, не заметила.

В похожие моменты терпение Антона лопалось, и он в письмах честно и жестко наставляет брата на путь истинный. Неумного иной раз не только в питии, но и в деспотизме к домашним. «Я прошу тебя вспомнить, – упорно вразумляет беспутного и одновременного любимого брата Антон, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать». И призывает Александра прервать эту «семейную традицию».

Но Александр ее только откорректирует. Он потеряет две семьи, точнее – даже три. Первая жена умрет, вторая уйдет сама. Когда в Петербург привезут гроб с телом Антона, Александр куда-то запропаستится. Родственники в очередной раз предадут его анафеме. Заступаться и вразумлять со смертью Антона будет уже некому. Александр переживет брата на девять лет. Теперь уже его настигнет настоящее оди-

ночество. Его покинут все. Доживать свой короткий век он будет изгоем на даче. Под Петербургом. Хоронить никто из Чеховых не приедет. И неясно, что случилось с огромным архивом Александра, посвященным его любимому брату Антону. Оказывается, всю жизнь и до последних дней Сашичка собирал, вырезал из журналов и газет все, что попадалось ему из написанного о дорогом ему и любимом друге Антоне...

## Эй, на каре!

Когда-то у меня был свой служебный автомобиль. Со всеми полагающимися причиндалами: колесами, рычагами, педалями, мотором. У него были кузов и пибикалка. Правда, последняя вечно заедала, и наш электрик Василич уже отчаялся ее чинить. Иных конструктивных недостатков в машине практически не наблюдалось. Разве что отсутствовало сиденье водителя. Даже – место, где можно было бы его установить. Ездить приходилось стоя. Но стоя – больше обзор. А это – плюс.

Я мог укатить на своей машине, когда захочу. И куда угодно. Даже, извиняюсь, в туалет. Потому что от кнопок и заслонок автоклава, что мне вменялось то и дело нажимать, он был неблизко. Я как-то пробовал сосчитать до него число шагов в своих гремучих ботинках. Но сбился. Потому что – споткнулся о торчащие из земли штыри. Они то и дело выпрастывались из старых бетонных плит, кинутых начальством много лет назад нам под ноги.

В итоге на работе постоянно приходилось разъезжать. Я не расставался со своим служебным авто даже в грузовом лифте. Протискивался прям на нем в кабину и, не слезая, жал кнопку вверх или вниз. Спускался (или поднимался), выруливал, почти не задевая бортами поломанные решетки

лифта, и продолжал стучать колесами по своим делам.

Да и не сказать, что дела были ахти какие важные. Так – рутина: мешки с корундом, шамотом и песком, пресс-формы, мусор, спирт. Последний, правда, в потрясающих воображение моего кореша Вована и глухонемого обрубщика Санька 200-литровых бочках. Подчас втроем нам приходилось крепко тужиться над этой хмельной тушей, пытаюсь сбороть ее в кузов моего авто. Чтобы – целехоньким довести, куда предписано, и обеспечить техпроцесс.

Вован с Саньком во время погрузки бодро и на все лады сопели, явно рассчитывая на снисхождение к своим заслугам бдительной и неприступной Раечки. Тщетно. Целостность ЦедваАшпятьОАш была возложена начальством на ее хрупкие плечи. И они, эти плечи, надо сказать, с главной ответственностью справлялись.

Кортеж с VIP-грузом следовал по заводской территории на заранее согласованной скорости и в раз и навсегда установленной последовательности: я – медленно-медленно на своем авто, груженном запрещенным мужицким лакомством; Вован – семена сзади и мечтательно поглаживая девственные металлические бока 200-литровой пассажирки; Раечка – пешком безмолвно и строго конвоируя нашу процессию. И на почтительном расстоянии – теряющий последнюю надежду Санек со товарищи.

Чуть ли не президентские почести, обеспечиваемые кортежу в начале пути, постепенно утрачивали былую одухотво-

ренность, которой достало бы хоть и на крестный ход с хоругвями, хоть бы и выше, – и постепенно радость созерцания святыни уступала место горечи чего-то несбывшегося, но долго таящегося в простых мужицких душах.

Поездка за спиртом всегда заканчивалась одинаково: сбрасыванием крутобокой пассажирки у Раечкиной кладовки на заранее подгаданные по такому случаю старые покрышки – чтоб не помять бока и не растратить вожаделенную влагу. Жаждали ее главным образом корундовые формы для литья. Без спирта они ни в какую не хотели сотворяться. А со спиртом – пожалуйста: льешь жгучий металл, а форме хоть бы хны.

Вован тоже никогда от этой штуки не отказывался, но его потребности технология не предусматривала. Реализовывались они разве что вопреки ей. Когда, скажем, Раечка чересчур шустро опрастывала остатки стратегической жидкости в ведро, расточая куда попало на глазах у паникующего Вована важнейшую влагу.

– Ну, Раечка, – яростно негодуя по поводу разбрызгиваемого по полу добра, сокрушался Вовик, – мужики бы за такие дела тебя бы просто убили.

– Ладно, не трепись, – зная наперед все переживания Вована, осаживала его гнев маленькая Рая, – грузи лучше пустые бочки, обратно в кладовую повезем.

...Если оболочки, что мы непрерывно ваяли для литья, требовали хмельного, то машинка моя, напротив, работала

только на воде. Лучше, конечно, – дистиллированной. Хотя годилась, в принципе, любая. Все равно она выкипала практически за день. Приходилось постоянно подливать и ставить транспорт на подзарядку. Аккумуляторы были дрянь, о чем Василичу я не раз докладывал. Тот только неопределенно кряхтел, бубнил что-то про замену кислоты и вытряхивание мусора из аккумуляторных банок.

Когда же совсем припекало и по причине хронической инвалидности моего служебного авто на участке сотворялся транспортный коллапс, Василич, точно вызванный к тяжело-больному хирургический светило, напускал на себя серьезный вид, цеплял на нос кривые очки без дужек, перекидывал на затылок привязанную к оправе замызганную резинку и, вооруженный отверткой, и больше ничем, принимался оперировать тяжело-больное средство передвижения.

Машинка моя после такого хирургического вмешательства немного взбадривалась, но прыти ей хватало на день-другой, после чего она вновь решительно отказывалась передвигаться без посторонней помощи. И переходила в разряд «неходячих». Особенно когда ей на загривок кидали пару корундовых мешков по тонне весом каждый. Авто мое начинало упрямо бычиться, пятиться задом, на взнуздывание рычагами отвечало сантиметровыми рывками вперед и снопом искр из коробки переключения скоростей.

– А ну, девки, навалимся! – мобилизовывала тогда на помощь сдохшим аккумуляторным батареям весь наличный

женский состав шумная Раечка.

«И, р-р-р-аз, – командовала миниатюрная Раечка, упираясь кукольным своим плечиком в застрявший многотонный воз. – Девки, не спим, толкаем – и еще р-р-р-аз!»

И отчаянные наши девки дружно выталкивали раздавленную тяжестью мешков мою колченогую таратайку на оперативный простор, где можно было под небольшой откос уже катиться по инерции. Вообще с горки моя машинка ездилась будь здоров, а вот в обратном направлении – почему-то капризничала.

Но все равно мы с ней дружили. Я вообще люблю, когда в вещи нет ничего лишнего. А вещь – работает. Скажем, в машине нет руля, кабины, сидений, фар, радиатора, карбюратора, магнитолы и джипиэснавигатора, а она – едет. А на ней – и ты. Плюс – в кузове, свесив ноги на улицу и по-детски болтая тяжелыми ботинками, бодрый толстяк Вован. Или – в обнимку с металлическими чушками и мычащий что-то на своем немом наречии усердный Саня. Или – другие мужики: «Эй, на каре!» – чуть что, голоснут, и мы всем табором куда-то дружно катим по нашим привычным заводским делам...

# Мелодия Кобликова

Они почему-то очень мало живут – самые талантливые. Владимиру Кобликову было отведено всего 44. Когда я пошел во второй класс, его уже не стало. О Кобликове я тогда, конечно же, ничего не знал. Встреча состоялась только через два года. Дату знакомства я запомнил точно – 20 мая 1974 года. Именно этим днем заведующий Калужским горно (фамилия неразборчива) подписал моему старшему брату книгу – в качестве награды за участие в математической олимпиаде. Книга называлась «Мелодия Дворжака». В ней не было нот, как можно было бы сначала подумать. Более того – в ней больше не было никаких упоминаний о великом чешском композиторе.

Под обложкой обнаружили повести и рассказы. Один – самый короткий – был назван моим именем – «Лешка». Я его тут же и прочитал. «Лешку знает вся улица. Он гроза девчонок. Его боятся собаки, кошки и воробьи. Лешка дерется каждый день и всех побеждает. У него есть старенький велосипед, на котором он умудряется съезжать даже с лестницы...» Вообще-то рассказ был про любовь – Лены и Лешки – двух дошколят. Всего две странички. Мне их хватило, чтобы полюбить эту шуструю парочку навсегда. И прикипеть душой к их нежному автору.



С тех пор я и запомнил автора «Лешки». Однажды взял его книгу с собой в Москву – коротать время в электричке. Попутчик напротив тоже что-то читал и, видимо, присытившись своей книгой, предложил поменяться. Я протянул ему «Мелодию Дворжака». Он мне – свое, не помню что. Через пару минут я уже не способен был сосредоточиться на подсунутой соседом книжке, а с интересом следил за ним самим – попутчик покатывался со смеху, безуспешно затыкал ладошкой рот, размашисто утирал платком выкатывающиеся из глаз обильные слезы. Смущенно оглядывался – как бы извиняясь за несдержанность и одновременно беспомощно кивая на разложенную на коленках книгу Кобликова: мол, это он во всем виноват, а не я...

Затем встречи с Владимиром Кобликовым стали происходить у меня все чаще и чаще. Хотя о том, что они были, я узнавал только какое-то время спустя. Скажем, каким-то ветром был занесен в редакцию газеты, где задолго до этого начинал свой писательский путь Владимир Васильевич. Я не знал, что Кобликов здесь тоже когда-то трудился. И родился как лучший калужский прозаик. К стыду своему, не ведал...

Подружился как-то с замечательным калужским фотографом Сергеем Петровичем Денисовым. Будучи у него в гостях, в домике за Окой, вдруг узнаю, что нахожусь в родовом гнезде Владимира Кобликова. Сергей Петрович оказался двоюродным братом Владимира Васильевича, который в

этом самом домике принимал обожаемого им Константина Георгиевича Паустовского.

Они вообще искренне симпатизировали друг другу – молодой калужский прозаик и всеми признаний литературный мэтр. Без снисхождения со стороны классика и без заискивания со стороны никому не известного провинциального газетчика. Секрет этой дружбы не давал покоя тогда многим: чем же так приворожил этот скороспелый, неугомонный Кобликов искушенного и разборчивого в литературных привязанностях Паустовского? «Подумаешь – насаживал червей «Доктору Паусту» на удочку», – шипели обойденные вниманием мэтра иные калужские «литературные классики».

Сам же «Доктор Пауст» формулировал силу тяготения к начинающему калужскому литератору несколько иначе: «Проза Кобликова наполнена спектральным светом. Она горит то красной, то таинственно синей, то напряженно зеленой, отражающей могучий всероссийский разлив наших лесов, то золотом, омытым в холодном воздухе того великолепного, хотя и ежегодного чуда, которое мы не зря зовем «золотой осенью».

Можно добавить еще, что проза Кобликова будто звенит – тонко так, нежно, иногда напоминая то ли бубенчики под дугой, то ли щебет ласточек под крышей. Вслушайтесь только в названия кобликовских повестей и рассказов: «До свидания, Эрлюсы», «Побег в соловьиные зори», «Баюн-трава», «Го-

лубые слезы»... Последнюю вещь Паустовский взял в свой знаменитый, ставший впоследствии легендарным, сборник «Тарусские страницы».

Под одной обложкой в компании с Мариной Цветаевой, Николаем Заболоцким, Булатом Окуджавой, Борисом Слуцким, Надеждой Мандельштам, Давидом Самойловым и Юрием Казаковым поместился и молодой калужский рассказчик. «Под ногами поскрипывал снежок. Дятел долбил звонкое дерево, кричала сойка. На одной маленькой полянке Сергей увидел много черных пятен. Подошел к ним. Грибы. Их забыли собрать, и теперь они торчали из-под снега, черные, сморщенные, никому не нужные...»

Кобликов, как сказали бы сейчас, «позиционировался» двояко: как писатель для подрастающего поколения, романтиков и пилигримов, – это с одной стороны; и как тонкий деревенский лирик, душой чувствующий сельский уклад, крестьянский дух, околоточный чин... «Придет Марья перед вечером за амбарчик, сядет на лавку и щурится на заречные дали. С крутизны глядится далеко-далеко. И – сколько глаз хватало – все леса. Леса хвойные, дремучие. И дали алые. За этими далями, считала бабка Марья, и лежит весь мир...»

Род Кобликовых большой. «У меня их семеро было, ребят-то, да две девки», – пересказывает воспоминания своей и Владимира Кобликова бабушки Сергей Денисов. Отец будущего писателя – Василий – художничал умело, да сапоги тачал ловко. Владимир отчасти по его стопам пошел –

знал толк в живописи. Хотя литература перевесила – окончил филфак Калужского педа. Учительствовал. Но тяге к писательству противостоять не смог – утянули книги. Даже, было время, дослужился до поста главреда Калужского книжного издательства. Того самого, что вынырнуло «Тарусские страницы».

Впрочем, этих «страниц» с лихвой хватило, чтобы издательство Калужское прихлопнуть. А Кобликову, наоборот, – взлететь. Но уже – не по карьерной стезе, а по писательской. И – вынашивать все более серьезные и глубокие вещи. Может быть – большой роман. Или – нежный-нежный, легкий, почти невесомый, звонкий, прозрачный и чуточку грустный рассказ. «Который, – делился своими замыслами Владимир Кобликов, – надо писать на одном дыхании...»

Он успел придумать только название этого рассказа. Очень певучее, нежное и искристое – «Мелодия Дворжак»...

## **Комары Катыни и борщ в Фаянсовой**

– Здесь, что ли, упал польский президент? – читая название станции, спрашиваю у орудующего рядом со мной полутораметровым ключом смоленского путейца.

– Ну да... Только к Смоленску поближе, – сбрасывая пепел с сигареты на шпалы, как-то неохотно бурчит тот.

Разговор явно не клеится. Мы молча шагаем по шпалам, раскачиваясь в такт поворачиваемой с усилием ручке путей-

ского ключа. Дистанция – 800. Уложенную плетть нужно закрепить до обеда. Завтра – еще одну, точно такую же. Народу не хватает...

Команду нашу срочно перебросили из Калуги для подмоги в Смоленскую ПМС. 350 км на вездеходе. Странно, дорога-то – асфальт. Но другого транспорта нет. Трясемся. Пиво, то да се, остановки до ветру... Короче, к вечеру добрались. Колодня – смоленский пригород. Вводный инструктаж. Расселение в вагоне. Предгрозовая духота. Сортир – на улице.

До сна – осмотр «достопримечательностей»: магазин «Магнит», пивной ларек и будка с квасом. В эпицентре – храм Иоанна Златоуста.

– Вообще-то раньше в этом здании размещался кинотеатр, – обрадованная единственному посетителю, посвящает в историю святого места его смотрительница. – Хотя когда-то, по преданию, была церковь.

Ставлю свечку за упокой и еще одну – во благополучие нашей командировки. Почитать из истории храма ничего в церковной лавке не оказалось. Смотрительница извинительно моргает.

– Есть, правда, об Иоанне Златоусте...

Ладно, думаю, почитаю парижские записки писательницы Ирины Одоевцевой, что успел сунуть в пакет перед выездом.

На перегон трогаемся еще засветло. Долго стоим под каким-то автодорожным мостом, как раз напротив выстреливающего в небо своими острыми башнями Смоленского

Кремля. Тот обрамляет каменными стенами весьма величественный храм. Он скоро растворяется в мелькании уносящихся куда-то за спину смоленских окраин. Наш рабочий поезд пыхтит на запад, в сторону Минска, еще километров тридцать, и замирает напротив платформы с надписью «Катынь».

В составе – два людских вагона плюс столовая. В придачу – повариха.

– Мария будет вам готовить, – устало опустившись на кушетку, объяснил заглянувший в вагон седой путеец в желтухе, перепоясанной журчащей рацией. – А это, – метнув взгляд в сторону недопитой бутылки, – лучше убрать.

– А может, сначала познакомимся? – по-гусарски бравирюя, протягивает руку незнакомцу один из наших.

– Ну что же, может, и познакомимся. Начальник ПМС Чазов.

Бутылка тут же исчезает под столом. Мужики начинают галдеть, что утром будут как огурчики. Чазов, измотанный бессонными ночами, устало ухмыляется, кладет руки на стол и, на секунду замерев, точно уснув, о чем-то задумывается.

– Батя, ну сказали же, что все будет как надо, – бросается митинговать Леха.

– Как ты меня назвал? – враз сбросив с себя вериги усталости, оживился Чазов.

– Ну, батя... А что? На отца вроде ты моего похож. Схоронил я его год назад...

– А лет тебе сколько?

– Тридцать три.

– Точно как моему сыну...

Чазов, стараясь скрыть так некстати проскочившую в его взоре нежность, медленно поднимается со скамьи. Точно португепю, армейским жестом поправляет ремень рации. Глубоко вздыхает. Еще раз бросает взгляд на разом при- молкнувшего Леху. Смотрит на часы.

– Завтра в 8 утра быть готовыми. Укладываем плети.

На ночь нас ставят на главном пути. Перетряхивают его до основания. Движение – только по одной ветке. Да и по одной никакой сутолоки не наблюдается: даже на главном ходу поездов нынче мало-мало. В сторону России везут главным образом новые иномарки. К чему они, когда «своих» иномарок некуда девать? Обратно – нефть-бензин. Ну, леса чуток да стали. А в основном на катынском перегоне хозяйничают комары.

– Смотри, Лех, высосут всю кровь и окосеют.

На открытой платформе рабочего поезда вечером бой с комарами особенно жесток. И облепленная ими голая Лехина спина нагоняет страх.

– Ничего, завтра прилетят опохмеляться.

– А то... Не комары, а бульдоги. Еще не сел, а уже кусает...

Мария исправно готовила куриную лапшу, картошку с мя-

сом, салат и прочее. От общих застолий категорически отказывалась. В период особо настойчивых приглашений даже звонила куда-то по мобильному: «У меня проблемы».

– Что-что... ОМОН, сказала, вызову – вот что! – пуганул кто-то из наших.

Все мигом протрезвели. Со стены, с выцветшего календаря печально взглянул Спаситель. Под ним вместо молитвы – белый лист бумаги с крупно напечатанными главными задачами Московской железной дороги на 2009 год, хотя на дворе – 13-й. Первым пунктом – повышение доходов железнодорожников.

Утром все пошло своим чередом: ключи, монтажки, кувалды... 800 метров раскорякой в одну сторону, раскорякой – в другую. Жара, пот, жажда, спасительный ветерок от проносящихся по соседнему пути составов, жалко, очень редких...

Странно, вроде и местность не гористая, а кривая на кривой. Холмы, правда...

– Руками в позапрошлом веке срывали, – делится пожилой смоленский путеец. – По пятьсот человек, говорят, в летний день с ближайших деревень пригоняли. Так еще не каждому работа доставалась. Кормила «железка» нашего крестьянина неплохо. И не один год. Теперь, слышал, немцы предложили переложить на европейскую колею при условии остановки всей трассы всего на одно лето. Не захотели...

На следующий день – еще 800 метров. К восьми вечера



прибывает КамАЗ, чтобы перебросить нас за 250 км на другое окно – в Фаянсовую. К двум часам ночи прибываем туда. Ищем в рабочих вагонах, где приткнуться. Кое-как переночевали. Спасибо, мужики накормили борщом. Окно – после обеда. Укладка. Те же 800. Перед нею – магазин. Явно не хватает Чазова...

Возимся до 10 вечера. Едва успеваем к закрытию окна. Узнаем, что рабочий поезд, где мы оставили все свои вещи, документы и ключи от дома, уже ушел.

Главное – КамАЗ не успел удрать и нам не пришлось 130 км пехать домой по шпалам без денег, документов и прочего. К двум ночи добрались до Калуги. Рабочего поезда еще нет. На базу не пускают: мол, не было распоряжения начальства открывать цех. «Но нам бы хоть от дождя спрятаться!» Ни в какую.

Сидим, мокнем на скамейке до трех ночи. Сжалился дежурный составитель поездов. Пустил к себе в каморку. Дремлем, сидя на стульях. Пробую разогнать сон чтением. «Мне, привыкшей к берлинским элегантным пансионатам, – сетует со страниц госпожа Одоевцева, – такая жизнь в Париже показалась совсем невозможной. Обедать мы ходили в огромный ресторан, неудобный и тусклый. Я обычно обедала в лучших ресторанах...»

– Может, пожрать чего?

Отрываю глаза от книжки – оголодавший Леха возится с пайковой банкой тушенки. Открывает и начинает тыкать хо-

лодный жир ложкой. Подкрепившись, засыпает, сидя на стуле. В начале шестого прогудел рабочий.

Взяли вещи. Переоделись. Полседьмого утра пошли автобусы в город. Пристроился на заднем сиденье и тут же задремал. Снилось, что все еще трясусь в КамАЗе и ставлю свечку в храме за успех нашей командировки...

# Мой Паустовский

Паустовского я полюбил поздно, но молниеносно. Не в школе, не после, а только сейчас. Вдруг – как ударило током. С опозданием, но – пускай. Точно помню: это были «Караси» из его «Повести о жизни» – великой, как оказалось, но малознаменитой саги о былом. «Он (карась) лежал на боку, – вытаскивал из закоулков своей необъятной памяти первую детскую рыбалку маэстро, – отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства. Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, мне хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого».

Вот именно с этого места – «слизывал брызги со своих губ...» – все и началось. Я понял, что испытывал многолетнюю жажду. Но не догадывался о том. А только – теперь, когда неожиданно ощутил живительную влагу поэтической прозы на пересохших губах. И тут же не преминул припасть к ее первоисточнику. «Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозových дождей, – писал, как дышал мэтр. – Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял

Нечипор...» Я верю: ровно до ста двадцати, а может, и с гаком. Клясться, впрочем, не заставляйте, но от Нечипоровой веры не отрекусь...

Белая Церковь с карасями – увы, увы... Мещера, признаюсь, сподручней будет. Короче, как-то летом я усадил жену и детей в машину и покатыл туда: Спас-Клепики, Тума, Касимов, Гусь-Железный, Гусь-Хрустальный, озера (сплошь Великие, других названий здесь почти нет), болотца, речушки, сотни верст комариных угодий (выдолбленного где-то под Спас-Клепиками из огромного дерева комара так и нарекли – Хозяин Мещеры), черника, лисички и томик Константина Георгиевича в бардачке. Плюс – схема проезда до тихой Солотчи. Из этой грохочущей автомобильным железом Рязани. Проспекты, светофоры, пробки, выезд из города, мост, Ока – и вот уже сумерки. Спешно мимо. Солотча не открыла своих писательских тайн, загадочно прошумев прибрежными кронами за окном. А я так ждал...

Или – задним числом к морю. К Черному – учиться у Паустовского распознаванию духа морского. Чем пахнут, например, волны? «Подлинное ощущение моря, – проповедовал Константин Георгиевич, – существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу,

пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями...» Вы знаете, чем пахнут ржавые мины образца 1912 года? А розовые (именно розовые) рыбачьи сети? Я тоже не знаю, но стараюсь разгадать. Потому что иначе никогда не познаю душу морских глубин и выскакивающих из этих глубин на жаркое солнце просоленных причалов.

Или – Таруса. Сестры они с той же Солотчей. Родные или сводные – как посмотреть. Родные по Оке, сводные по Паустовскому. Если море рядом с писателем прошло, Ока навеки рядом осталась – в обнимку с тарусским крутояром, подпирающим на своих плечах тихий городской погост. Отец на нем, и сын – тоже. Недалеко. Рядом.

А еще выше по реке – Калуга. Правый берег Оки – Дворики Ромодановские. Я сижу в уютном домике фотографа Сергея Денисова. На старом диване. «На нем Паустовский отдыхал, – между прочим роняет Сергей Петрович, роясь в коробках со старыми негативами, – когда в гости к нам приходил». Я невольно опускаю ладони на потертую обшивку. Медленно провожу по ней, точно глажу. Откладываю старые фотографии в сторону и закрываю глаза. Вот скрипнет калитка, откроется дверь, и войдет он...

# Неуценённый Ценский

Не знаю, как кто, а я подбирался к Сергееву-Ценскому кружным путем. Ну, уж слишком извилистым. Да что там говорить – почти вслепую... Метнулся назад лет пять тому в Тамбовский край, да не на его родину, а – своего детства, под Жердевку. Погрустить о былом. Вдохнуть непозабываемый аромат густых темнеющих пашен. Поискать в зарослях ракиит фундаменты дедова и соседских с ним домов. Не узнать тех мест, где бегал босиком. Где счастлив был. Любим. Желанен.

Пустить слезу. Сесть на краю погрузившейся навеки в чернозем родной деревни. Откопать на память кирпич из дедовских руин. Сесть в машину и, не успев засветло добраться до Калуги, заночевать в Тамбове где-то на берегу Цны. Утром выйти на извилистую набережную. Взглянуть на купола ближних и дальних соборов. Послушать колокольный перезвон и шепот речной воды у рыбацких мостков. Сделать несколько шагов в гору от непривычно скромной для русских широт реки. Всей грудью глубоко вдохнуть – а хорошо!..

И вдруг застыть в почтённом трепете подле выросшего из гранитной глыбы могучего человека с пышной шевелюрой и грозными усами, устремившего – нет, даже, скорее, вонзившего, – взгляд куда-то далеко-далеко, направившего его на

что-то большое-большое, такое важное и судьбоносное, что, казалось, человек этот каменный вот-вот шагнет с постамента вниз и устремится к этому важному и большому, оставив позади волшебный, тихий, уютный, полусонный Тамбов с тягучей малой речкой за спиною.

Это была моя первая встреча с Сергеевым-Ценским. Каюсь, она прошла даром. Я слышал, что был такой писатель, но прежде не читал: ни в школе (она игнорировала сего могучего тамбовчанина), ни после. Не открыл я его бессмертного «Медвежонка» и тогда – после первой тамбовской «прелюдии». Не познал его же великую «Печаль полей», хотя сам точно такой же печалью был болен. Почившая в черноземных недрах родная моя деревня, казалось, плакала, зывала оттуда, из преисподней, о скороспелом своем уходе в мир иной, о том, что могла народить еще жизни с три короба, но не народила, что могла бы еще встречать нас, своих птенцов, посверкивая на пять верст вокруг своими пестрыми крышами, но, видно, больше уже не встретит. Отчего так?..

*«Над полями, уползающими за горизонт, – прочту я вскоре о том же у Сергеева-Ценского в его «Печали полей», – опоясанными длинными дорогами, логами, узкими оврагами, неслышно и невидно, но плотно и тяжело повисло нерожденное. Что-то хотела родить земля, – что? – не леса, не горы, не тучи, – что-то хотела и не могла... Силою теплых дождей напоен и храбро пыжится каждый угловатый ком чернозема. Взапуски тянутся отовсюду, спеша и*

*смеясь, тоненькие трубочки былинки: выпускают из своей гуши жаворонков в небо; пьют ночные росы и тянутся выше, выше, по брюхо приземистой каурой сельской лошаденке, и еще выше. Пока не остановятся вдруг, не оглянутся кругом и, испуганные, не начнут поспешно отцветать, желтеть и вянуть...»*

Он молодым покинет этот жирный, плодородный, бездетный край. Пойдет, как и его отец, в учителя. В солдаты, в прапорщики. В народ. В бескрайние русские просторы. В войну, которую проклянет навек за оживление безжизненности. «Занозив» себя навек трагической печалью лучшей из описанных им в своих романах героинь – несчастной Анны Ознобишиной, выносившей семерых своих детей, всякий раз утрачиваемых при родах. Когда восьмой потерей в этой неплодородной тьме приходит очередь быть роженице самой...

Проза его была точной и пронзительной. Жесткой и певучей. Пейзажной и твердой. Музыкальной с металлическим эхом. Хрустальной с серебряным перезвоном. Пластичной и нерушимой одновременно. Ею упивался Горький, ставя Сергеева-Ценского во главе всего современного ему писательства. Письменно признавался в любви к его перу. Не раз искал встречи с новой литературной звездой. Но Сергеев-Ценский больше искал уединенности, предпочтя еще на взлете своей литературной карьеры почти отшельничество на Орлиной горе в Алуште. Здесь в начале века он обустроивает



свое писательское гнездо. Строит дом. Разбивает сад. Обретает семью. Теряет дочь. Терпит нужду. Каждый день выходит смотреть на морской закат. Запасается стопками чистой бумаги, перьями и, не давая себе поблажки, работая по 10–12 часов в день, пишет великую прозу. Которую потом забудут. А после вспомнят...

Уединенность писателя становится частью его сущности. Как выяснилось, вполне закономерной. Причем, как для него закономерной, так и для его поклонников. Даже – великих, как тот же Горький, который так и не смог отыскать, будучи в Алуште, домик автора потрясающих по силе повестей. Сергеев-Ценский спустился к Горькому сам, и оба мэтра наконец-то смогли обняться и окунуться в мир обожаемой ими русской литературы, в оглавлении которой отныне значились такие мастерски сделанные вещи Сергеева-Ценского, как поэмы и повести «Сад», «Печаль полей», «Пристав Дерябин», «Медвежонок», «Наклонная Елена», «Блистательная жизнь», роман «Бабаев» и только что начатая эпопея «Преображение России»...

Добраться до сих литературных сокровищ, до самого Сергеева-Ценского и сегодня не так легко. Если Горький не сразу нашел дорогу к нему в Алуште, то что говорить о нас, простых смертных. Мне, например, сначала пришлось приехать в Тамбов. И все равно – найдя, можно сказать, прошел мимо. Вскоре жизнь привела в ту самую Алушту. Но опять-таки не к Сергееву-Ценскому. А к его соратнику по перу и не

менее выдающемуся писателю – Ивану Шмелеву. В Профессорский уголок Алушты, где на высокой набережной уютится домик-музей автора «Лета Господня». И тут вновь как бы невзначай встает перед глазами имя Сергеева-Ценского – его Орлиная гора, оказывается, совсем рядом. Полчаса пешком. Правда – высоко-высоко в горы. Что ж, это – судьба!..

Вот оно – место рождения великой прозы. Ровно полвека служившее кузницей удивительных по выделке литературных вещей. Стройные кипарисы, высаженные собственной рукой, миндаль, цветы. Одноэтажный лаконичный дом с верандой. Внизу – уходящее в бесконечность море. Именно здесь, и только здесь может родиться замысел таких могучих вещей, как, скажем, «Севастопольская страда». О том, что значит быть морской державой и как эту почетное звание отстоять. А в доме – все обычное. Все-все. Кроме книг – их масса. И – обо всем. Недаром их хозяин – академик. Доктор филологических наук. Мудрец. С каким хочется присесть на диван и расспросить о главном. О самом важном. Точь-в-точь как на картине, что здесь над рабочим столом: Сергеев-Ценский и Горький – о чем это они там толкуют?..

# Лёва

В классе мы его всегда звали Лево́й. Маленький, с рыжеватой сединой, торчком стоящей над широким лбом. На носу очки с 18 диоптриями. Сквозь них на нас смотрели по-детски наивные и по-взрослому усталые глаза полуслеплого физика Ваваева. Раскрытый настёж журнал Лева всегда подносил к самому носу и, близоруко прицелившись ручкой в строку, выстреливал фамилию очередного визави.

– Устинова, иди, дорогая, к доске решать задачу.

Юлька Устинова, веселая и шумная троечница, прыснув в кулак и спрятав в портфель листаемый на коленках журнал мод, толкает меня локтем в бок: «Лешк, чего там?»

– Массу умножишь на ускорение, получишь силу, – утонув в широко раскрытых бирюзовых Юлькиных глазах с изящно подведенными ресницами, взволнованно шепчу соседке.

Эти ресницы почему-то вечно не давали покоя нашей классной. Та то и дело таскала за шиворот бедовую Юльку в женский туалет смывать это «безобразие». На Леву же Юлькины чары никак не действовали. Во-первых, потому что он был староват. Во-вторых – слеповат. А в третьих – потому что мы были дураки.

– Мельников, я хоть и вижу плохо, но слышу хорошо, – это он мне.

В самом деле, у Левы был хороший слух. А также – память: на уроках физики он читал наизусть «Руслана и Людмилу» с таким же упоением, с каким цитировал своего любимого Перышкина. Пушкин и Перышкин. Плюс – байдарки.

По весне Лев Михайлович снаряжал свой тяжеленный «Салют», брал в прокате еще пару таких же неуклюжих посудин, как эта, и пускался вместе с классом в отважное путешествие по калужским рекам. Воря, Угра, Вытебеть, Ресса, Рессета. Извилист был путь школьного физика в многолетнем отыскании наиболее эффективной методологии преподавания своего предмета.

Правда, это было очень давно, когда Лева еще хоть чуть-чуть видел. Потом стал только слушать и петь. И – вспоминать. Меня, правда, через тридцать лет после школы не узнал. Забыл. Двоечники как-то запоминаются ярче. Да и сколько народу через его учительскую память проследовало – ужас! Я нашел его домашний номер телефона и позвонил. Он назначил встречу в библиотеке для слепых.

Тот же непослушный ершик седых волос. Широкий лоб. Наивный взгляд. Только по-стариковски как-то сморщился. И – без очков. Старик перенес какие-то сложные операции на глазах. Что-то видит, что-то – нет. Что именно, впрочем, мы не очень понимали и раньше. У Левы в школе была осо-

бая такая тетрадь. В нее он ставил плюсики и минусики за каждый ответ на уроке. Не у доски ответ, а – просто на любой из заданных вопросов. Подняли пять раз – получи отметку.

Левина тетрадь интриговала больше, чем журнал. За ней охотились все девчонки нашего класса. Когда Лев Михайлович по рассеянности оставлял свое досье без присмотра, над ним тесно склонялось пять–шесть пар девчоночьих косичек.

– Эй, пацаны, посмотрите, чтоб Лева вдруг не зашел, – кидали нам в приказном тоне подтасовщицы в фартуках и лихо перечеркивали Левины минусы, превращая их в плюсы, а себя – в отличниц.

– Дуры, – брезгливо хмыкал на заговорщиц Витька Хромушкин. Минусов возле его фамилии в Левиной тетради было больше всего. Но шебутной Хромушкин, как и все мы, уважал Леву.

Когда тот появлялся и подносил к самому носу свою тетрадь, то подолгу пыхтел и хмыкал, водя пальцем вдоль строчек с шифрами наших познаний. Выныривая из-за своей тетради, обводил полуслепым взглядом наш класс. Опять погружался в недра своего кондуита. Чем-то там шелестел, негромко бурчал и обреченно вздыхал. Снимал и протирал платком ставшие уже практически ненужными слепым глазам очки. Вставал из-за учительского стола. Опять садился. Молчал. «Так-так-так...» – после долгой паузы объявлял результат своего расследования Лева. Но на этом «так-так-так» все и завершалось.

Я хотел спросить Льва Михайловича, знал ли он о тогдашних подделках в своей тетради. И – не спросил.

– Вот солирую высоким баритоном в хоре областного общества слепых, – почувствовав мою заминку, перешел на другую тему старый учитель. – На днях даже выезжал вместе с коллективом на гастроли в столицу. Люди очень тепло встречали. Каждой песне подолгу аплодировали. Мне даже самому понравилось, как я пел. Обычно-то всегда недоволен собой остаешься. Эх, думаешь, мог бы лучше. Эх, недотянул. А тут понравилось. Песня, правда, старинная. Может, слышал где?..

И Лев Михайлович ровным и чистым голосом выводит: «Пушки молчат дальнобо-о-о-ойные, залпы давно не слышны-ы-ы-ы...» Мы с моим учителем сидим в библиотеке для слепых имени Николая Островского, и он, глядя куда-то вдаль, тихо рассказывает о том, о чем никогда не рассказывал на своих уроках. Что родом из Лужников – коренной москвич. Прадед огородничал как раз в том месте, где сейчас раскинулся наиглавнейший российский стадион. Был богат. Но после того как в этих местах прошла окружная железная дорога, землю у прадеда отрезали.

Богатство куда-то испарилось. Дед сник. Отец, будучи военным, из Москвы угодил в Вятку. А оттуда в 43-м вместе с семьей и десятилетним Лево́й долго и мучительно перебирался через Ярославль, Иваново, Шую, Рязань и что-то еще сюда, в Калугу. Самое яркое впечатление того первого

военного похода – эшелоны. Сотни эшелонов, ломившиеся по всем железным дорогам страны с востока на запад. На фронт. С орудиями, боеприпасами, новенькими тридцатьчетверками и необстрелянными бойцами внутри. «Пушки молчат дальнобо-о-о-ойные...»

С детства мечтал в железнодорожный. Но по зрению не взяли. Пришлось идти в Калужский пед. На физико-математический. «Так что в учителя, – признается Лев Михайлович, – попал не по призванию. А так – почти случайно». «Случайной» профессии отдал практически всю жизнь. Работал до тех пор, пока глаза не перестали различать детей в классе. Потом – операция, удаление катаракты. Потом – еще одна, неудачная.

– Читать, конечно, не могу, – говорит Лев Михайлович, – да и телевизор теперь только слушаю. Да не унываю я от этого. От того, что ничего практически не вижу. Что я этих джипов, что ли, на дорогах не видал? Зачем мне на них смотреть?..

По-прежнему страшно интересуется наукой. В библиотеке для слепых постоянно берет кассеты с записями журнала «Хочу все знать». Караулит канал «Дискавери» и научно-популярные сериалы «Би-Би-Си». Разыскивает их в сонме телевизионных каналов, садится и слушает. Последнее потрясение – приземление, точнее – прититанивание, европейского аппарата на самый загадочный спутник Сатурна. Разве не радость?..

Будь на то воля свыше – повторить жизненный путь – в учителя, клянется, ни за что бы не направился. Хватит. Типичный, надо сказать, ответ выложившегося на все 100 педагога. На вторую жизнь таких обычно не хватает. Только на одну. Безмерно щедрю...



## «Жить в горячих сердцах...»

Поэт революции и драматург, стойкий ее солдат и нежный поклонник, авангардист, теоретик конструктивизма, он же – цирковой борец, грузчик, натурщик, музыкант, художник, спортсмен, юрист, искушенный спец по заготовке пуш-нины, член экспедиции на ледоколе «Челюскин», сварщик на Московском электроламповом заводе, кадровый офицер Советской армии, руководитель семинара в Литинституте им. Горького. Это лишь часть ипостасей Ильи Сельвинского. Как они смогли ужиться в одном лице – загадка. Отчасти отгадываемая местом рождения этого гениального крымчака – Старым Симферополем. Местом, в котором можно родиться. Двориками, которые невозможно не полюбить...

Вот она – густейшая смесь десятков культур, языков, вер и традиций. По-татарски затейливо петляющие улочки в ширину одной повозки. Обступающие тебя с двух сторон вековые стены домиков из жесткого, точно наждак, ракушечника. Над проулками – жаркое солнце, в проулках – зной, плюс – переключка колоколов Троицкого и Петропавловского соборов с криком муэдзина с неподалеку расположенного минарета древнейшей на полуострове мечети Кебир-Джами. Тут же соединяющая (или, наоборот, разделяющая) православные и мусульманские святилища бойкая и шумная ули-

да Шмидта. Какого именно? Либо – того самого, щуплого, но героического лейтенанта Шмидта, бросившего вызов царю и жизнь – на плаху. Либо – могучего и бородатого полярника Шмидта, бросившегося на зов уже свершившегося социализма во льды ледовитых морей.

И тот Шмидт, и этот сыграли не последнюю роль в судьбе родившегося вблизи поименованной в честь них транспортной артерии поэта. Как и другой первопроходец, но уже в литературе, точнее – в ее социально обостренной интерпретации, – Некрасов. Тот самый, которого юный Илья ставил очень высоко, выше многих, отмечая его в чем-то революционный поэтический запал, с которым будущий авангардист Сельвинский старался максимально сойтись.

Надо ли говорить, сколь своенравно распорядилась история, пустив улицу Некрасова в Симферополе как раз на пересечение с Бондарным переулком Сельвинского. Как и улицу Шмидта: подпирать собой родные пенаты поэта с тыла. А Большевицкую – обнимать подступы как к главным православным святыням Симферополя, так и к местным литературным святилищам. Из таких гремучих смесей, судя по всему, и взрываются сверхновые поэтические звезды масштаба Ильи Львовича Сельвинского.

«Он дал историю в развороте от Средневековья до современности, – писал о выдающемся поэте Лев Озеров. – Он дал общество в разрезе от холопов до царей. Он дал все виды и жанры литературы: от двустишья – до романа в стихах,

от сонета – до эпопеи. Он дал просодию: от ямба – до тактовика, который является его личным введением в поэтику, от хорея – до верлибра». Но сначала – ворвался в поэзию переполненным искрящейся южной романтикой и предчувствием великого революционного пути юным летописцем эпохи. Своей эпохи...

*Мне двадцать лет. Вся жизнь моя – начало.*

*Я только буду, но еще не был.*

*Души заветной сердце не встречало:*

*Бывал влюбленным я, но не любил.*

*Еще мой бриг не тронулся с причала,*

*Еще я ничего не совершил,*

*Но чувствую томленье гордых сил –*

*Во мне уже поэзия звучала...*

*Что ждет меня? Забвенье или пир?*

*Но я иду, бесстрашный и счастливый:*

*Мне двадцать лет. Передо мною мир!*

Сельвинский, собственно, и занимался всю жизнь тем, что пытался объять этот самый мир. Понятно, необъятный в принципе. И тем не менее чувствовавший на себе пристальное внимание поэта. Вот он гимназическим почерком евпаторийского школяра шлифует первые рифмы для городской газеты. Вот, подхваченный ветром назревающей революции, штудирует «Капитал» Маркса (под впечатлением прочитан-

ного даже берет себе второе имя – Карл). Вот рвется спасать от интервентов родной Крым. Вот попадает под белогвардейские (или красногвардейские – в ту пору поди разбери) пули, а потом оказывается в застенках севастопольской охраны, воссоздавая в тюремных стихах жуткий дух зарешеченных пространств и ощущая в себе приступы новых поэтических озарений.

*Крым... Как весело в буханьях пушки  
Кровь свою пролил я там впервой!  
Но там же впервые явился Пушкин  
И за руку ввел меня в круг роковой.  
Сначала я тихо корпел над рифмой,  
На ямбе качался, как на волне...  
И вдруг почувял я вой надрывный...  
Жизнь разверзлась пещью в огне!*

Вот, очарованный новизной социализма, Сельвинский конструирует для него новый литературный язык. Вот, озабоченный первыми социальными поломками в недрах нового общества, анализирует способы их устранения. Рождаются поэтические эпопеи: «Улялаевщина» – о трудных родах революции на местах в условиях буйства анархистских эпидемий, «Пушторг» – о не менее коварных послеродовых осложнениях в недрах уже укрепившейся соввласти. Создает поэтическую драму «Командарм-2» – опять-таки об идейных трениях не с врагами революции, а внутри революцион-

ного стана.

Сельвинский не воспевал. Не барабанил. Он ставил диагноз и искал способы лечения. Новое общество оказалось предрасположенным к серьезным социальным осложнениям.

*Но мне воспеванье не по плечу.*

*Не трубадур я в лавровых листьях.*

*Я проблематик. Я аналитик.*

*Это невесело. Но хочу*

*Жить в горячих сердцах, а не в бронзе...*

Понятно – камень в огород Маяковского. Последнего Сельвинский ценил очень высоко. И тем не менее отчаянно с ним ругался. По поводу: не трубадурничай! Не мельтеши рекламой!

*Маяковский! Вы увенчанный лаврами*

*Мэтр и меж поэтов туз!*

*Как-то за вами я поплечусь*

*В яром деле торговой рекламы?..*

И Сельвинский шел своим путем. Изобрел свой собственный поэтический механизм. Тщательно сконструировал. Построил. Отладил. Создал поэтическое течение конструктивистов. Собственно, этой заслугой главным образом и прославился. Мол, поэтические опусы должны быть максималь-

но функциональными. «Заточенными» на главную идею. Рифмы, метафоры, образы – все должно работать «на конечный результат». Приносить не столько поэтическую, сколько социальную прибыль. Хотя и изощренными поэтическими способами. Вот так...

Отличие настоящих поэтов от прочих – невластвование над своими лозунгами. Подчас сильный поэт вздорит со своей узкопартийно-поэтической программой, со своим эстетическим кредо и... остается поэтом. Без лозунгов. Как это, видимо, и произошло с Сельвинским. И до, и после своего конструктивизма он то и дело выстреливал потрясающими по силе поэтическими шедеврами. Скажем, в каюте плутающего по Северному Ледовитому океану ледокола «Челюскин» Илья Львович не находит ничего более важного, как признаться в щемящей любви отброшенной на тысячи верст от него родной матери:

*... И мать уходит. Держась за карниз,  
Бережно ставя ноги друг к дружке,  
Шажок за шажком ковыляет вниз,  
Вся деревянненькая, как игрушка,  
Кутая сахар в заштопанный плед,  
Вся истекая убогою ранкой,  
Прокуренный чадом кухонных лет,  
Старый, изуродованный ангел.  
И мать уходит. И мгла клубится.*

*От верхней лампочки в доме темно.  
Как черная совесть отцеубийцы,  
Гигантская тень восстала за мной.*

*А мать уходит. Горбатым жуком  
В страшную пропасть этажной громады,  
Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.  
Моя дорогая, заплакана маты<sup>1</sup>.*

Ему периодически устраивали выволочки. Считали непонятным и заблудившимся в литературных дебрях. Ругали на уровне ЦК и даже Сталина. Но не убили. За что – спасибо. Критиковали до войны и после. И даже – во время, когда комиссар Сельвинский сражался, освобождая родной Крым от фашистов. Когда был тяжело ранен. Когда этот прошедший огонь и воду мужественный человек был потрясен, раздавлен увиденным близ Керчи массовым захоронением расстрелянных гитлеровцами семи тысяч мирных жителей. «Я это видел!» – исторгнет поэтический стон из своей души Сельвинский. И тоже будет осажен сверху: не так! После войны – вновь розги. За компанию с Ахматовой и Зощенко. Хотя издавался и преподавал – тут власть «не мелочилась». Понимали: Сельвинский – это имя.

*Для меня рублишко не задача,*

---

<sup>1</sup> Маты – мать (укр.)

*Скажем откровенно: не бобыль.  
У меня литфондовская дача,  
Телевизор и автомобиль.  
Захочу – могу в кабину сесть  
И проехаться Москва – Мацеста.  
Все на свете, дорогие, есть!  
Только нет на мне живого места.*

При возможности сесть и поехать куда угодно Сельвинский предпочитал только один маршрут: на родину, в Крым, в детство и юность. Может, в знойный Симферополь. Или – в купающуюся в теплых морских ветрах Евпаторию. К любимому Черному морю. Морю, которое служило горизонтом будущему поэту все ранние годы, которое он любил, которому посвятил нежнейшие поздние гимны в прозе. Ему, а также всему, что бушевало рядом с нарождающейся новой поэзией жизни.



# Солнечная

Вагон был старый, двери на амбарном замке. В ожидании долго топтались на жаре и бегали набирать воду. Брошенные с мехцеха шланги с водой быстро захлебнулись – вагонная преисподняя обнаружила серьезную течь. Короче, тронулись без сортира. Зато – с открытой платформой по ходу. На нее выходили подышать: тепловозной гарью и набегающим ветерком.

Погнали на Солнечную. В ночь. Укладывать плети. Днем нельзя – электрички. Рядом на полке храпит Антоха. Духота, а ему нипочем – молодец. Нет, все-таки проняло – очнулся...

Лысоватый, небольшой. Уши слегка оттопыренные, смешные. В первый день бригадир подвел его ко мне: «Лех, покажи Антохе, что делать». А что на щербазе можно делать? Только вагоны штыковой лопатой зачищать. Залазишь внутрь – и шуруешь. Все 70 тонн...

Местный, со «Спички», но в Калининградской мореходке несколько лет учился. На этой почве мы с ним и подружились. Я тоже оттуда – из Кенига, как небрежно величает местожительство своей бывшей супруги, тещи и собаки Антоха. Правда, я в отличие от него воспоминания имею более радужные.

Ну, детский сад помню, море. Бомбоубежища какие-то с

выходом прямо перед песочницей, где мы играли. Все лазы решетками забранные – от детей. Говорят, немцы в них воды Преголи перед отступлением напустили. И Янтарную комнату заодно туда засунули. Поезд еще такой помню до Москвы ходил – «Янтарь». «Да он и сейчас есть», – возвратил во времена далекого детства Антон.

Пол Атлантики, как утверждает, прошел. Ну и Средиземноморье – тоже. В Париже был, Марселе, Голландии, Испании, на Канарах, на Фарерах... «Да ты не думай, везде одно и то же, – сладко потягиваясь на продавленном путейском матрасе, успокаивает он, – футбол и бабы».

Из рассказов преобладают про то, как пили: в аэропорту Орли – на бровях, в Марселе, Барселоне, Польше, где уже точно не помнит, ну и, конечно, на корабле. Особенно – в конце рейса. Ритуал – почти месса: вынь да положь...

Вагон, пошатываясь на стрелках, гремит все дальше. За окнами – Малый, где в двенадцатом Кутузов наподдал Наполеону, в сорок первом Жуков – Гудериану, а в девяностых Газпром отстроил Маклино. После уже в Малоярославце начались сражения за какие-то помойки.

Наших, путейских, в вагоне человек двадцать. Еще пятеро студентов с местного технаря. «Необстрелянных». Один с дочкой в одном классе учился. Санек Шабанин. Узнал. Надо же, как время бежит? Они уже, вон – подпирают.

На Солнечной уже какой месяц аврал: к Дню железнодорожника сдают новую ветку – в Новопеределкино. Чтобы ав-

тобусы и метро разгрузить – так нам объяснили. И новые плети перед самой платформой положить – чтоб колеса электричек мягче катались. Днем никак невозможно – движение. А ночью – в самый раз.

Приткнулись где-то на задних путях. Коротаем время. До сумерек его целый вагон. Хотя уже не такой душный, как наш раздрыга – рабочий: слегка повеяло да и за «Балтикой» сбегали. Потом – за квасом.

Скачем в своих «желтухах» точно рассыпанные по путям апельсины – обходить далеко, составы длинные. Тетя Лена тоже силится перелезть – подставляли доски. Ей – за пятьдесят. С гаком. В путейцах, надо полагать, со школы. Строгая, сильная: лопаты, ключи, кувалды – а ты думал? За соленым словом в карман тоже не заглядывает. Дело-то путейское – мужицкое. Да вот только бабскими слезьми и потом будь здоров как политое.

«Отмерит он нам, бабам, по 20 шпал – и шуруй лопатой, отделявай, – предавалась путейским воспоминаниям тетя Лена. – Сунет ботинок под рельсу. Не пролазит, щебень – подзывает: «А ну, мать твою раз эдак, иди, отделявай заново!» Что ты, начальник, а куда денешься: ненавидели, но уважали...

К одиннадцати вышли на исходную. Света – чуть. Темноту распугивали какими-то специальными надутыми светлым воздухом столбами. Под носом видно, дальше – ни хрена. Над головой самолеты рыкают, моргают – от Внукова

в глухую ночь подпрыгивают. Со спины «хозяйка» вагонами товарными грохочет – пересортировывает. Свет в окнах многоэтажек потихоньку гаснет. Солнечная задремывает...

Развинчиваем себе сопя. Ключами лязгаем. Молчим. Антоха пот со лба рукавицей сбрасывает. Поклоны в рельсу бьет – каждой по четырежды: по количеству оборотов путевого ключа. «Ну, вообще – вилы!» – разгибается, наконец, на перекур. Это у него присказка всегда такая – про «вилы». Когда не доволен чем-то. Если про вахты ночные в Антлантике начинает рассказывать, так сплошняком: «вилы» да «вилы».

«Брикет 50-килограммовый когда с рыбой в морозилку на пупе тягаешь, то тут вообще мама не горюй, – вроде как пытается подбодрить самого себя сравнением явно в пользу нынешних путейских мытарств Антоха. – Во были вилы! Шторм. Болтанка. А ты с этими брикетами в холодильник, где минус 70, ныряешь. Бр-р-р...»

Пошли два модерона – старые рельсы сдергивать. Кури пока. Положат на их место плеть – потей по новой: наклон – уголок, второй – скоба, третий – регулятор, четвертый, пятый, шестой – уже с ключом кланяешься. И так на каждой шпале. Их в этот раз не так уж много – около тысячи. К полшестого утра должны успеть. Позже нельзя – электричкам надо.

Сашок мой, вижу, подзастрял – ключ неудачный выбрал. Или просто спину вконец израсходовал и кланяться уже нечем. Пошли вместе. Старается. Вижу и кореша его с техни-

ря – тоже в мыле. Но не сдаются – так и висят на хвосте у стариков, долю путейскую постигают. Молодцы. Хотя неважная она вообще-то, эта доля. Чего ж ее постигать – эту на горбе мозоль...

«Учиться тебе дальше надо, – хлопаю по плечу притомившегося сынка. – Тут спину с кайлом обломать всегда успеешь». «Думаю. Может, в Москву, в МИИТ», – обреченно глядя на непройденные метры, соглашается парень. «Ну, думай, думай...»

Последние шпалы крутили, считай, под колесами тепловоза: он подпирал нас, а его – время. Первые электрички – на носу: просыпалась Солнечная. В вагон запрыгивали на ходу. В шесть тронулись обратно. Кланялись каждому столбу. Копили духоту в вагоне и пустые бутылки под полками. Антоха, как всегда, храпел. Я завидовал: воздуха нет, а он дышит. Да еще присвистывает мелодично так – молодец!..

Полторы сотни верст обратно шли часов восемь с лишком. Потому что рабочий – пропускали всех. Даже стоящих...

# Конспект студента МИСиС

## КАМЕННЫЙ САМОЛЕТ

В тенистых переулках близ сердито дремлющих стен Донского монастыря, в соседстве с некогда кующим стальную мощь заводом имени товарища Серго Орджоникидзе, носом на запад, хвостом на восток грузно распластался на целый московский квартал сотворенный некогда умелыми сталинскими левшами царь-самолет. Самый большой в мире. На манер выплавленной для страха при Федоре Иоанновиче венценоснейшей царь-пушки. Только еще больше – пешком не обойдешь. Как и нестреляющая царь-пушка, царь-самолет никуда в этой жизни не полетел. Хотя и собирался. Например – в коммунизм. Но поскольку построен был из камня, в небе ни разу не побывал, хотя многих своих пассажиров поднимал на приличные высоты.

– Ну, что, Грегуль, видишь Кремль?

– Пока нет.

– А на подоконник?

– Чуток просматриваю.

– А со стулом?

– О, уже лучше – класс! Рубиновые звезды как на ладони!

Начало 80-х. Мы живем на самом кончике правого крыла некоего архитектурного чудища, всем своим видом напоми-

нающего гигантский самолет – с крыльями, фюзеляжем, хвостовым опереньем, иллюминаторами (окнами) – и в пропуске на вход в эту каменную царь-птицу у нас значит: «Общежитие «Дом-Коммуна», к. 602».

Мы – студенты Института стали и сплавов. Высматриваем со своего 6-го этажа Кремлевские шпили. Грегуль – мой друг. А «Дом-Коммуна» – наше убежище. Домом назвать этот архитектурный птиродактиль 30-х, конечно, сложно, хотя встарь предлагалось использовать еще более радикальное наименование места, куда нас занесла суровая судьба советского студента, – «машина для жилья».

Это был настоящий механизм. Самолет, пусть каменный, пусть неспособный взмыть в облака, но все равно – робот. Сконструировали его в горячие годы сталинских пятилеток еще более горячие инженерные головы именно для того, чтобы в нем содержать других роботов, то есть первых советских студентов, прямиком направляющихся из «Дома-Коммуны» строить настоящий коммунизм. Числом около двух тысяч, упаковывающихся на ночь в двухместные 4-метровые каюты по всей длине гигантских крыльев каменной царь-птицы. Если бы ей, этой царь-птице, в самом деле удалось когда-нибудь взлететь, то чудо партийной орнитологии точно затенило бы своим бетонным опереньем всю Шаболовку, половину Ленинского проспекта, Парк имени Горького с Академией наук в придачу.

Но «Дом-Коммуна» не летал. А лежал пластом под креп-

кими стенами Донской обители. Летали мы: по ступенькам, по этажам, по коридорам. Двести метров из конца в конец. Это – «размах крыльев» нашего каменного аэроплана. От первой комнаты на этаже – до последней. В «фюзеляже» – кухня и очередь в комнату по нужде. Если живешь на краю, как мы, то ежедневные стометровки в один конец: либо с полотенцем и зубной пастой, либо со сковородой и яичницей на ней, конечно, на занятия, с занятий. Рассмотреть из одного конца «крыла», что делается на другом, можно было разве что в телескоп.

Но ощущение неба все-таки в нашем царь-самолете присутствовало. Скажем, радость парения над землей. Причем в условиях почти президентских – когда ты паришь, не скрючившись в кресле, а лежа в кровати, да еще спишь. Архитектор общежития-самолета сталинский зодчий Иван Николаев предусмотрел в нашей оконечной комнате массивный балкон. Предусмотрел, но не сказал, не оставил никаких инструкций – для чего же он этот балкон придумал. Выхода на него из комнаты не было. И ниоткуда не было. Разве что с улицы. Но это был шестой этаж. Поэтому мы вылезали на него через окно. И даже выносили на шикарный балкон продавленные панцирные кровати. И спали, паря во сне и наяву над нашей красавицей-столицей.

Каменный самолет архитектор Николаев сдал в начале 30-х. Конечно, без лифта. Зато – с пандусами, которые вполне могли претендовать, как и вся «машина для жилья», на но-



минацию в книге рекордов Гиннеса. По ним, по этим пандусам, можно было не только зайти, забежать, заползти, но и заехать в любую из 400 комнат нашей общаги. Правда, заезжать было особо не на чем, но если бы было, то мотоцикл с коляской вполне бы по этим пандусам прокатился. Вплоть до седьмого этажа – финального.

Наше неуклюжее мегаобиталище относилось, между прочим, к «памятникам конструктивизма». Мы об этом узнали позже. И зареклись на будущее жить в каких-либо других достопримечательностях: конструктивизма, авиамоделизма – без разницы. В первые пятилетки таких в стране наваяли немало. Где – по делу, а где, как в нашем случае, – без. Хотя с большими предисловиями к отсутствию таковых. Например, такими, что составил в качестве «инструкций по пользованию «Домом-Коммуной» сам главный его авиаконструктор Иван Николаев. Точнее, что в его уста вложили время и ЦК ВКПб. В них фигурируют: не дом, а «машина для жилья»; не жилая комната, а «ночная кабина»; не покушать, а «принять завтрак».

Личной жизни – ноль (дети коммунистов, если есть, изолируются в детские сады), личного пространства – ноль (2,5 кв. м – и то лишь на ночь), личных интересов – ноль (поскольку все 24 часа в сутки твои интересы подчинены общественным). В таком максимально обнуленном и невесомом состоянии человек и впрямь, по замыслу авторов коммун-проектов, мог взмыть в небо даже на аэроплане, собран-

ном из кирпичей. И долететь на нем до светлого будущего.

Нам с Грегулем это не удалось. И никому, по-моему, из наших соседей по «Дому-Коммуне» – тоже. Мы дошли до этого будущего своим ходом. Хотя нет-нет да иной раз и захочется сесть на 26-й трамвай, выйти на остановке «Улица Орджоникидзе» и украдкой проверить: не улетела ли куда наша «Коммуна»? Жалко, если исчезнет...

## **ОКТАБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ**

В полседьмого утра эскалатор на «Октябрьской» ползет вверх всегда медленней, чем надо. Я занимаю левый ряд и обгоняю волочащиеся под левой рукой резиновые перила. Справа уходят ко дну досыпающие, точно лошади, стоя, первые пассажиры. Мне нужно оказаться наверху раньше их. Выйти из метро. Обежать главный корпус. Тот, что высится на бетонных «ходулях» и «распечатывает» Ленинский проспект. Заскочить во двор старого – сталинского еще покроя. Схватить в кладовке лопату и метлу. И ринуться с ними наперевес – грести снег под Октябрьской площадью.

От моего участка берет начало проспект имени вождя революции. Сам вождь по другую сторону Калужской заставы, окаменев, очевидно, от привнесенных с собою потрясений, в окружении столь же неподвижных революционных масс, куда-то назидательно вещает. Не думаю, что в мой адрес: мол, землю – крестьянам, лопаты – студентам! Но на всякий случай убыстряю темп и точно в слаломе лихо маневрирую

снежным скребком между ног спешащих на работу москвичей.

«Надо бы пораньше встать, – как всегда, ругаюсь на себя, буксуя в сугробах, – прохожих было бы меньше и убираться было бы сподручней. А так – мельтешня одна получается». Спина с утра уже мокрая, а еще четыре пары сидеть. Но впереди меня ждет награда – тучный, сытный ореховый рулет по 24 копейки за штуку с сахарной посыпкой и горячее какао с молоком. Я его терпеть не могу, но почему-то всегда заказываю в кафешке напротив. Она с восьми утра уже открыта – это ее главный плюс. А еще – дешевая: все сербают и жуют здесь стоя, как в пабе. Хватанул – и на лекции.

Они начинаются здесь, в главном корпусе, в том, что «на ходулях», в полдевятого. Хорошо, если не на шестом этаже. А если на самый верх – опять затыка: лифт берет на вес десять человек, поэтому одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым и т.д. приходится висеть в кабине в распор, упираясь спиной в одну стенку кабины, а ботинками в другую. Но это, если в лифте не поднимаются наверх преподаватели. Не будешь же в одной кабине с самим профессором Белашенко корячиться как идиот и висеть с глупой рожей под потолком точно макака. «Я крещу вас водою, – с грустной ухмылкой снабдил вчерашнюю лекцию по физхимии, как всегда, по-кембриджски элегантный и загадочный Давид Кириллович, – но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви».

Интересно, это он на кого намекает? Всегда что-нибудь из Писания в лекцию воткнет. Это его еще кафедра научного коммунизма не слышала. МИСиС-то, говорят, сам «Голос Америки» приравнял к кузнице этого самого коммунизма. Гордости у нашей прекрасной преподавательницы политэкономии социализма Майи Васильевны Курбаткиной от такого сравнения было немерено.

Мы тоже попытались загордиться от этого сравнения, но как-то не пошло. Изуродовали приинститутскую Октябрьскую площадь монументом заблудившихся в истории людей – чему уж тут радоваться. Да и в памяти то и дело вставляли заковыристые притчи мудрого Белашенко. Чтобы наш кумир, студенческий идеал, мудрец и наставник, так себя бичевал – мол, «недостойн развязать ремень обуви» – не бывать тому! Впрочем, в лифт профессора Белашенко мы и так всегда пропускаем без очереди. Короче – на шестой сегодня поднимаюсь пешком.

Сидели тут в ноябре на шестом этаже всем потоком на философии. Аудитория высоко над Ленинским проспектом нависает. Далеко видно. Я быстро забежал. Подсел к Грегулю. Тетрадь с конспектами из сумки достаю. Пальцами в мокрых ботинках двигаю – грею после утренней беготни с лопатой. О лабах по физике с Грегулем перекидываюсь – когда бы лучше сдать. Входит Моноплан – лектор по философии. Хороший дядька: спокойный, добрый, вдумчивый. Просто у него одной руки нет. А остальное – на месте. Мозги – в особен-

ности. Но мы его и прозвали – по-самолетному.

Входит и дрожащим голосом говорит: «Товарищи, сегодня умер Леонид Ильич Брежнев». И – в слезы. Думал: тоже заплачу. А отчего – не знаю. Почему-то детский сад и школу вспомнил. Папу с мамой и Хромушкина, с которым гоняли после уроков на велосипедах. В аудитории загремели стулья. Все разом встали. Растерянные лица. Отчасти – испуганные. Что делать дальше – не знаем. Перечеркнется ли все самое светлое, что было с нами раньше, или нет? Или можно будет жить после таких страшных слов Моноплана и дальше? Мы не знали...

А на днях Вера Сергеевна, начальник нашей дворницкой службы, меня отчитала: почему, мол, не убрал внутреннюю лестницу во дворе между старым корпусом и новым? Ступеньки скользкие, преподаватели ходят и жалуются. «Я убирал!» – соврал я начальству. «Значит, плохо убирал», – напирала на меня Вера Сергеевна. Не стану же я ей говорить, что виной всему дохлая крыса, которую я обнаружил в институтском дворе и долго ходил вокруг нее, пытаюсь совладать с отвращением и определиться, как с ней быть дальше. Время на размышления я потратил ровно столько, сколько нужно было бы для чистки ступенек.

Впрочем, ступеньки чистить во внутреннем дворе мне даже нравится. Во всяком случае, это лучше, чем бегать как ошпаренный с лопатой по тротуару Ленинского и наступать на ноги ни в чем не повинным прохожим. Со двора видны

окна нашего ДК. Мы туда с ребятами часто ходим. Ну, не так, чтобы очень часто, но иногда получается. Был даже Тур Хейердал. Объявление маленькое при входе, чуть не от руки: мол, все желающие приглашаются на встречу. Дожевав бутерброды, решили: айда, раз зовут. Высокий, стройный пожилой джентльмен. Обаяние потрясающее. Примагнитил капитально. На всю жизнь. Масштаб Галилея – человека, способного взять земной шар в руки и его согреть. Впрочем, я отвлекся. Мне надо убирать снег...

## **ЖИЗНЬ В КРОССОВКАХ**

Бег я полюбил случайно. По идее, я должен был полюбить плавание. Но мисисовский тренер Царек, мельком взглянув на мои минусовые очки, небольшие бицепсы, ровный живот и уже на полу сосредоточенно задержав взор на явно выраженном плоскостопии, со знанием дела заключил: «Миопия». Из институтского бассейна меня быстро турнули и перевели в группу здоровья.

Там пять прозрачных от худобы девчонок и Боб Штейнбах ходили под руководством пожилой дамы-тренерши в ближний лес делать дыхательную гимнастику. Бегать не разрешалось. Подтягиваться на турнике – тоже. Только – размеренно дышать, шумно сопя ноздрями, вращать ладонями и жеманно приседать (точно перед унитазом), в точности как беспомощно тужились в спортзале героини фильма «Семь стариков и одна девушка».

Стариками были мы – студенты, а девушкой – Вера Петровна с буклями и щегольских кроссовках. Хотя кроссы, повторяю, мы не признавали. Максимум, на что хватало спортивной прыти чрезвычайно башковитого и абсолютно неспортивного Боба Штейнбаха, так это на бросание пластмассовой тарелки на мягком травяном лужке.

Легкий замах, мягкий наклон, дышим ровно, рука от груди плавно отводит тарелку прочь, темп движения системы «рука-тарелка» постепенно нарастает, тарелка убыстряет бег, на максимальном разгибе руки ты разжимаешь пальцы и отпускаешь плоский снаряд в свободный полет. Твой партнер в это время изготавливается к поимке выстрелившего в его сторону пластмассового предмета, чуть наклоняется вперед, колени немного согнуты, руки на ширине плеч, пальцы разомкнуты, дышит ровно – смотрит, короче, чтоб не попало тарелкой по лбу.

Когда я рассказал об этом приключении главному на кафедре физкультуры лыжнику Самсонову, тот чуть не заплакал от жалости и с ходу перезаписал меня к себе – в лыжную секцию. «Над вами никто здесь так изгаляться не будет, – по-отечески заботливо порадовал Самсонов и, видно, окончательно растрогавшись, провозгласил в своем лыжном ведомстве небывалый либерализм. – Можете вообще ко мне на занятия не ходить. Разрешаю. Обгоните меня на традиционном институтском пробеге в честь 9 Мая – «отл.» ставлю с закрытыми глазами: ходил на занятия, не ходил – без разни-

цы».

Так я осознал первую прелесть бега – либерализм. Мы в самом деле редко толкались на занятиях у Самсонова. Видели его раза три в семестр – не чаще. Потому что все тренировки в зале, как и разрешал наш тренер, законно «толкали». Вместо них мы просто натягивали кроссовки, спортивные штаны и мотались по Нескучному саду и Набережной Москвы-реки. Потом, когда чуть подтренировались, освоили дорожки Мосфильмовской. А после уже замахнулись на Дорогомиловский мост. Короче – готовились 9 мая отвоевать у Самсонова дембель от физры.

Тщетно. В День Победы, Самсонов на традиционной институтской 12-километровке обставил нас как котят. И большинство малоуклюжих любителей трусцы – тоже. Но мы не сникли. И решили взять реванш на следующий год. Чтоб уже точно никогда больше не париться этой институтской физкультурой. Список наших тренировочных маршрутов пополнился Новыми Черемушками, Теплым Станом. И, в конце концов, уперся в далекое-предалекое Ясенево. В попытках убежать с физкультуры мы обежали полстолицы.

В следующий пробег мы вновь увидели на финише спину неугомонного Самсонова. Тот, как всегда, бодро велел не горевать и набросал примерный план ближайших пробегов на полгода: где, какие и что за них дают. Дивиденды были, прямо скажем, скудные – где бегали за кормежку, где за памятный значок, а где и просто за хорошее настроение. Но глав-



ное – за «отл.» по физкультуре. Все пробеги, заверил хитрый Самсонов, входят в зачет «Кубка Самсонова», главный приз которого – его подпись в зачетке с нулевым посещением занятий.

Главный приз, помню, так и остался неразыгранным – никто из нас Самсонова так ни разу и не обогнал. И не получил от него вожденную «дармовую пяť» на веки вечные. Поскольку, думаю, она была на самом деле никому не нужна. Мы получили от Самсонова куда большее – дарованную им любовь к бегу. Не знаю почему, но она, эта любовь, не покидает меня и спустя 30 лет после того первого проигранного старта в День Победы.

# На плетях

– Ну вот, сели... – обреченно крикнул Вова и полез в задок «буханки» за резиновыми сапогами.

За окнами – ноябрьская мгла. Вдалеке мрак изредка пронзается светящимся жалом локомотива. Там – Киевка, до которой мы не дотянули шагов двести по непролазной грязи.

Переобувшись, Вова выпадает из кабины во мглу – подключать передний мост. В зубах вместо сигареты – фонарик. Долго где-то внизу чвакает и матерится. Наконец вползает обратно за руль. Надрывно газуя, узик беспомощно барахтается в жиже. Тщетно. Похоже, дальше придется идти пешком. Рюк-зак – на плечи, ключи – под мышку, фонарик – в варежку, и сваливаемся в полуметровую колею.

Насыпь где-то впереди. Столбы в темноте едва угадываются. Можно особо не торопиться – в конце ноября светает поздно, и на перегоне до восхода солнца работа не закипит.

Сегодня – плети. Длиннющие восьмисотметровые рельсы кладутся взамен коротких двадцатипятиметровых. Народу нужно много: на каждую сотню метров – по два монтера, плюс краны, плюс стропалья на кранах, плюс моторка, плюс бороны, плюс люди под бороной... Словом, глухой 207-й километр Киевской трассы сегодня точно глухим не будет.

– Все, вперед! – обрывается неначавшийся перекур.

Фонариками нащупываем подъем поположе. Щебенка мерзлая. Ботинки скользят. Цепляемся за камни монтажками и ключами, точно альпинисты. Вскоре вершина насыпи начинает вспыхивать короткими белыми молниями – это лучи фонариков натываются на светоотражательные полосы наших монтерских жилетов. Долгое шуршание щебенки под тремя десятками пар башмаков. Идем вдоль путей молча. Разговаривать неохота. Наверное, так солдаты на войне подтягиваются к рубежу атаки. Светает...

– По сколько сегодня дадут? – интересуются мужики у подошедшего начальства.

– У нас одна мерка – по сто.

Если на войне «сто» – это граммы (скажем, наркомовские), то на «железке» «сто» – это метры (уже монтерские). Есть подозрение, что самые длинные в мире.

Стометровка на плетях – это не спринт, это – марафон. Время «забега» – часов пять. Если не повезет, то все восемь. Отличие от классической стометровки еще и в том, что проходишь ее «раком». Не разгибаясь. Орудя ключом на 36 с приваренной к нему длиннющей ручкой. Каждой шпале – сначала по четыре поклона с ключом в одну сторону, потом – по два в обратную. Затем снова команда «кругом» – и в шпалу дважды челом бить. А шпал на каждого – по 184. И вновь поворот на 180 градусов – и по шесть приседаний с инструментами (или падений – это уже у кого как) возле каж-

дой из этих самых 184 шпал. Все вместе это зовется «пайкой». В смысле дали тебе твой кусок работы – вот с ним и разбирайся...

Наконец, полностью высветлело. Прогредел последний состав. Началось «окно». Можно согнуться. Вздыхаешь и упираешься лбом в землю.

– Интересно, – бросаю копошащемуся где-то поблизости Сане, – вот, если мы бьем тут столько поклонов за день, то там, на небесах, это как-то зачтется?

– А кто его знает... – продолжая звенеть ключом, не сразу откликается скорчившийся над разбираемой шпалой напарник. – Я на кирпичном за пятнадцать лет их знаешь сколько наделал? Теперь на старости лет здесь спину ломаю.

Саня – бывший машинист. Пермьяк. Рассказал, почему зовут пермьяков «соленые уши». Потому что мешки с солью на плечах тягали. «Соликамск – слышал? Ну вот это как раз там. Потому, выходит, и уши у нас соленые». Я поглядел на него: уши как уши. На кирпичном ради квартиры оказался. Получил. Детей вырастил – теперь вновь на «железке». Но уже не в кабине тепловоза...

В приказе «на плети» всегда слышится что-то такое «плеточное». Хлесткое. Будто тебя собираются выстегать. И ты весь как бы сжимаешься в ожидании скорой боли в спине, ногах и правой кисти руки. Той самой, что все «окно» не расстается с гаечным ключом. Рука почему-то немеет не сразу, а потом. Точно отмороженная, она мешает спать ночами, не

находя себе путного пристанища во всей кровати.

Час–полтора – и по закрытому пути начинают тащить плеть. Изморенный тепловоз яростно дымит, волоча за собой 800-метровое железо. Отчаянно сопротивляясь, новый рельс ползет по бетонным шпалам, выдавливая из них вонючие искры и жалобный стон. На стыке движение замирает. Здесь устанавливается борона – этакая хитрая тележка, что ловко поддевает с пути старые рельсы и заряжает в освобожденные шпалы новую плеть.

Ждем «вспашки». После бороны наш черед класть очередные поклоны – крепить ключами и монтажками уложенную плеть. С каждым шагом становится все теплее. Позолотивший березки и осины утренний иней перестает напоминать о зиме, а только – в редкие разгибы – отдается где-то внутри мягким сочувствием нежно припудренным ранними зазимками далям.

Долой теплую куртку! Только свитер и непременно «желтуха» – путейский, стало быть, оранжевый жилет. Холодно только от проноссящихся по соседнему пути товарняков. Те предупредительно гудят. Мол, будь начеку. Ладно, разогнусь – хоть спина чуток отнует. Да и машиниста зачем нервировать?

Один приятель, было дело, зазевался. В междупутье вроде как замешкался. С одной стороны кран гудит – рельсы старые снимает. С другой – пассажирский летит, трубит: мол, поди прочь! С третьей стороны путейцы благим матом орут:

убирайся скорей, дурында! Тот мечется. Растерялся. Не соображает. Дело к печальной развязке движется, так стропаля с крана его за шиворот чуть ли не из-под колес пассажирского достали.

– Видал? Парень-то в рубашке родился, – это я дяде Пете, что на соседней пайке крючится.– Теперь ему одна дорога – в храм. Свечку за здоровье ребят поставить.

– Да, жди, поставит... Он и пятьдесят грамм-то тебе не нальет...

У дяди Пети возраст и позвоночная грыжа. Наверное, от этого он ехидничает и часто ссорится. Хотя пайку крутит как черт – не угонишься. Было дело, пил, но сейчас бросил. И курить бросал, но, правда, опять начал. Дядя Петя делится горестями: «Я говорю дочке: ну, ты отцу-то с зарплаты хоть полторашечку пива поставь». А она: «Пива, папа, покупать не буду, а вот лучше тебе, папа, билеты в театр куплю». «Тьфу, – говорю, – микроба, ты и есть микроба». Так две недели с ней не разговаривал. Представляешь?..»

К вечеру от паек начинают отпадать первые оранжевые пятнышки. Это самые проворные путейцы заканчивают крутить свои стометровки. Менее шустрые продолжают скрюченный марафон на спринтерской дистанции. Их жалко. Обреченно они провожают взглядом тех, кто устало шагает мимо них к костру. Кому-то из отстающих помогают, кому-то – нет. Почему – не спрашивай...

Но кончается в конце концов и этот день. Сон сбарывает

уже в кабине вездехода на обратном пути с перегона. Сон, в общем-то, и не сон: машина отчаянно прыгает по мерзлым комьям и корягам. Голова бьется о замерзшее окно. До выезда на асфальт километра полтора–два. Кто-то пытается курить, кто-то устало шутит. За окнами темно – там поздний вечер. Можно погасить плафон и закрыть глаза. В кабине становится тихо, только слышен стон рессор и чье-то беспокойное похрапывание на заднем сиденье уставшего вездехода...

# Рост кристаллов

Растил детей, сады и кристаллы. С первыми двумя понятно – тянутся вверх. Наперекор гравитации. А к последним приспособливаешься – вниз головой развиваются. Да еще крутятся – чтобы здоровья кристаллического прибыло. Чтоб без дефектов и всяческих бяк. Как дети. Разве что не прыгают и скачут. А так все то же самое: рост – в движении.

У тех – ссадины на коленях, сопли, прыщики... У этих – дислокации, двойники, дендриты и тоже... прыщики. Точечные, так сказать, дефекты. Приходится лечить. Но лучше – профилактика. Для первых – зарядка по утрам, обливание, проветривание. Короче – глаз да глаз. Для вторых – закупоренные комнаты, мелочность в расчетах, неподвижное нависание над лункой смотрового окна. И тут не без пригляда...

«Режется, – бросает на ходу всегда стремительный Геша. – Сбрось пару десяточек». Я принимаю у него смену. Из расплава вытягивается кристалл. У нас говорят: по Чохральскому. Похоже, капризничает: «играет» диаметром и злит всегда терпеливого Гешу – «поймал градус» и непредвиденно «худеет». Может «провалить» размер. Для опытного ростовика – почти оплеуха. +1240 чувствуешь нутром – без термомпар, пирометров и проч. Как? Не спрашивай. Как настроение собственных детей – по громкости молчания или от-



блеску озорных глаз...

У меня впереди – сутки. Ровно столько растет 80-миллиметровая буля монокристаллического GaAs. Это – если с чисткой камеры, ее загрузкой, неотступным бдением возле смотрового окна, выращиванием, охлаждением и т.д.

Ровно 24 часа длится детство, отрочество и юность «кристалло-потомства». Впереди – взрослая жизнь: сделаться чипом, схемой, светодиодом, лазером... Достичь приличных высот. Если повезет – космических. Но сначала – «пеленки»...

Наследственность – это затравка. Скажем так – материаловедческий ДНК. Что в затравке – то и у «детей». Яблоко – от яблони: черточки, черты, родимые отметины... На идеальный вариант надежд немного. Все равно юный кристалл нахватает структурных бацилл. Задача – их минимизировать. Скажем так, материаловедческая педагогика...

Вертящееся озерцо вязкой раскаленной гадости (несколько раз вырывало термопары – вонь чесночная, сладковатая, мышьяком: даром, что ли, пенсию в 50 дают...). Жар отсекается толстыми станками ростовой камеры. Блики – светофильтром. Расплав трепещет и ищет упорядочения – как ребенок соску: к кому бы прильнуть и обрести покой?..

Важен момент касания затравкой. Как транспортного корабля с космической станцией – асимметрия масштабов аналогичная. Тут важно не убиться и не задушить росток в объятьях – нежно так поцеловать расплав изюминкой будущего

кристалла. И зорко следить за последствиями свершившейся любви.

Она может быть разной. Бурной, с выкидыванием по сторонам угловатых дендритов – признак пересыщенных чувств и упрямых вожелений. Перспективы никакой – «бешеный» кристалл сплавляешь. Может, напротив, быть крайне целомудренной, никак не продвигающейся дальше поцелуев. Куда деваться – ждешь...

Рост кристаллов – это терпение. Не так ли с детьми? У них режутся зубы, и они предпочитают не спать до утра. И ты – с ними. Режется кристалл – и точно так же дремать приходится над ним стоя. У мальчика опух палец – и ты не знаешь, чем сбить эту припухлость. По телу юного арсенида пошла аллергия («шуба», как мы ее зовем) – и ты всяческими заклипаниями пытаешься уговорить ее оставить кристаллического подростка в покое...

Вроде колыбели – кварц. Точнее – кварцевый тигель. В нем все и происходит: от зарождения – до выхода в свет. Кварц очень терпим: и к мышьяку, и к пельменям. Толерантность беспредельная: практически ни во что не вмешивается. Для нас это важно: лишний атом из колыбели к младенческому GaAs – беда. Нужным параметрам не сбыться.

Да и – аппетит какой? В ночные в кварцевых тиглях мы варим ароматный суп на всю бригаду. Это, если тигель большой – двухсотмиллиметровый. Если поменьше – на 135 – завариваем чай. Впрочем, Геша предпочитает кофе. Чтобы

не спать. Дети-то растут – тут глаз да глаз нужен...

# Здравствуйте, Хайдеггер!

Вы спрашиваете: «Что есть бытие?..» Увы, человечество мало продвинулось в постижении сути бытия за последние пару тысяч лет. Причина, как посчитал в начале XX века профессор Марбургского университета Мартин Хайдеггер, – обманчивая «самопонятность» термина. Настолько, как трактовали целые плеяды философских школ, банального, что утруждаться его научным препарированием многие века считалось необязательным. И даже гигантские интеллектуальные вспышки масштабов Аристотеля и Канта не вырвали у бытия ответа на безостановочно мучающую человечество загадку: «Что же, в конце концов, ты есть такое, бытие?»

Видимо уже вполне отчаявшись найти отмычку к бытийному замку, Гегель в сердцах почти признал его принципиальную неоткрываемость, назвав бытие «неопределенным непосредственным». «Когда говорят: «бытие» есть наиболее общее понятие, – написал в 1927 году в качестве вступления к своей эпохальной книге «Бытие и время» Мартин Хайдеггер, – то это не может значить, что оно самое ясное и не требует никакого дальнейшего разбора. Понятие бытия скорее самое темное».

Его-то ровно 90 лет назад и попытался «высветлить» один

из крупнейших мыслителей XX века Мартин Хайдеггер. Он же – основоположник немецкого экзистенциализма. Хайдеггеровское «Бытие и время» растолковало-таки многовековую загадку бытия. Что сразу же поставило книгу в ряд философских бестселлеров XX века. Заодно забронировав ей VIP-места в веках последующих. Поскольку разгадка бытия ничего не упростила.

Обострение бытийного вопроса не случайно пришлось на пик философских изысканий экзистенциалистов. Ибо учение последних возвращало недостающее доселе звено в рассуждениях на тему бытия, некоего сущего, а именно: того, кто спрашивает об этом самом бытие. Стало быть, постановка вопроса «что есть бытие?» уже бытийна и вскрывает сущность бытия через бытийную возможность спрашивания. Ее Хайдеггер определил, как присутствие.

Ранее первые шаги в этом направлении сделал Кьеркегор. Как отмечал Мераб Мамардашвили, «основная мысль Кьеркегора – мысль о том, что философы почему-то забывают, описывая мир, что они сами часть этого мира, что инструмент, на котором они исполняют свои философские арии, тоже бытийствует определенным образом и что сам вопрос о бытии, который задают философы, есть проявление бытия». Короче, озабоченность бытием, заявляет Мамардашвили, и есть способ бытия. Хайдеггер поименовал его Dasein, или «здесь-бытие», «человеческое бытие», «уже-бытие». То есть – бытие опосредованно бытием присутствующего.

Философская мысль Хайдеггера продвигалась к вопросу о бытии через бытийность личности. А – не наоборот. Хайдеггер меньше всего на свете был настроен объяснять бытие через сущее. Или – бытие посредством накопленных «внутри него вещей». Подобные вульгаризмы, как правило, характерны для ультраматериалистических воззрений.

Те гласят, что законы Ньютона истинны «от сотворения мира и до скончания веков». И истинность эта вполне может обойтись и без самого Ньютона. То бишь – человека. Хайдеггер готов посмеяться над этойкой «бесхозностью» истин, замечая, что «законы Ньютона и всякая истина вообще истинны, лишь пока есть присутствие». И далее: «до бытия присутствия, и когда его вообще уже не будет, не было никакой истины и не будет никакой».

«Очеловечивание» бытия, к которому склонился экзистенциализм, оснастило его довольно устрашающими обывательский слух терминами: смерть, ужас, страх, падение, брошенность. Вместе с тем обнадежило, философски узаконив, казалось бы, такие вполне житейские и малонаучные понятия, как вина, забота, любопытство, совесть.

Последняя, скажем, по канонам экзистенциалистов на равных участвует в формировании ответа на вопрос о сущности бытия, экстраполируя проблему на бытие присутствующего, которому, чтобы все-таки быть надобно, как пишет Хайдеггер в «Бытии и времени», «вернуться из потерянности в людях назад к самому себе». В итоге главный фило-

софский вопрос о бытии экзистенциализм перепоручает человеку, нагружая его непосильной ношей ответственности (а в равной степени – и свободы, что, в принципе, подразумевает эту самую ответственность) за это самое бытие.

«Человек, – уточняет Хайдеггер, – то, что он делает». И даже не то, чем он стал. Поскольку он бытийствует, выбирая предложенный ему природой потенциал присутствия до дна, то есть – до смерти. Последнюю Хайдеггер вполне по-экзистенциалистски определил, как «способ быть, которое присутствие берет на себя, едва оно есть». В итоге всех этих философских изысканий человек обременился заботой о своих деяниях в контексте бытия вообще. Причем деяниях не гарантированно (что проповедуют апологеты теории исторического прогресса) успешных. «Экзистенциализм, – поставил чуть позже точку (или – многоточие) в определении ключевого философского учения Жан-Поль Сартр, – философия действия без надежды на успех».

На вопрос «что есть бытие?» человек, в принципе, ответ получил. Но сказать, что он кому-то облегчил жизнь – было бы изрядной натяжкой. Он не облегчил жизнь. И даже – несколько ее усложнил, обременив ответственностью за свои мелкие (и часто низкие) поступки не только перед лицом своих ближайших родственников и сослуживцев, но и бытия в целом. Тем самым, не исключено, хоть как-то застраховав оное от небытия.

# Непримиримые

Он не дожил до возраста Христа ровно год. Но точно так же умирал распятым – параличом и слепотой на инвалидной койке. Умирал многожды. Воскресал столько же. Даже после смерти не оставлял начатого: воскресать и умирать заново. Чтобы потом опять стряхнуть пепел забвения со своей судьбы. А заодно – и своих деяний...

Бунтовал против святош и сам был причислен к лику ангелов. Еще при жизни. Но уже после распятия. «Это – святой!» – произнесет один из Нобелевских лауреатов, его «идейных врагов», после встреч с «распятым». Не было такого несчастья, которое обошло бы его стороной. Но и не нашлось такого проклятия, которое бы он не вынес.

Отречение от Господа родной матушки после смерти младшей своей сестры. Каторжный детский труд посудомойкой и кочегаром. Мясорубка Гражданской за недостижимый рай для всех бедных людей планеты. Ранняя юность, брошенная под копыта свирепых конниц. Жадный и хваткий ум, кинувшийся на приступ праведности. Жестокая горячность, готовая расправиться с каждым, кто станет на пути к пролетарскому счастью...

В 18 он уже искалеченный ветеран кавалерийских атак. Умудренный жизнью, прошедший пожар революции. В 22



года – перестает ходить. В 24 – видеть. Постепенно набирается багаж для главного подвига – сочинения книг. О вихре жестоких схваток. О жизнеутверждающей силе разрушающих бурь. О том, как закаляться в этой стихии до крепости стали. И – не умирать в ней, будучи распятым заживо...

Сочинять слепым и неподвижным. Терзаемым периодическими приступами сотней недугов, каждый из которых способен был загнать идейного страдальца в гроб. «Сейчас у меня только крупинка здоровья, – пишет он старому приятелю по «комсе» в Харьков, – я почти совсем слеп, не вижу, что пишу. Я... жестоко загнан в физический тупик... – такая радость жизни. Разгромив меня наголову физически, сбив меня в этом со всех опорных пунктов, никто не может лишь унять моего сердечка, оно горячо бьется».

И он решает наполнить разгромленную жизнь содержанием. Написать книгу об этом самом содержании. А именно – о поисках его. В борьбе, сражениях, потерях и победах... Победах, которые даются порой ценой жизни. А значит – побеждают смерть. «То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, – сплошное недоразумение, идиотская шутка, сатанинская! Если мне сейчас дать хоть одну ногу и один глаз, – я буду такой же скаженный. Как и любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки».

Он был боец. С детства. И непримиримым – тоже с само-

го начала. Таким, как правило, нужны враги. Точнее – они для непримиримых неизбежны. И необязательно классовые. Но в данном случае классовые пришлось как нельзя кстати. Потому что без борьбы не может быть жизни. И жизнью для прикованного и обессиленного недугом революционера становится книга.

«... я сгораю. Чувствую, как тают силы. Одна воля неизменно четка и незыблема. Иначе стал бы психом или хуже... Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Неправ тот, кто думает, что большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось бы, безнадежном положении. Если меня разгромят в Госиздате, я еще раз возьмусь за работу. Это будет последний и решительный. Я должен, я страстно хочу получить «путевку» в жизнь. И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче мое устремление».

Не примириться с «распятием» – удел подвижников. Победить смерть – удел святых. Даже – с большевистским билетом в кармане. Он яростно пишет. Водит еле подвижной рукой вдоль деревянного транспаранта. Буквы наползают одна на другую. Резь в слепых глазах. Тяжесть одеревеневшего тела. Движения становятся все скупей. Когда они прекращаются вовсе, приходится диктовать. Благо память – феноменальная. Сочинительство стало напоминать шахматы вслепую. Вполне гроссмейстерский уровень...

Впрочем, особых иллюзий насчет своего литературного дара он не питает. И мужественно признается в этом другому Нобелевскому лауреату – в последнем письме: «Помни, Миша, что я штатный кочегар и насчет заправки котлов был неплохой мастер. Ну, а литератор из меня хуже. Сие ремесло требует большого таланта. А «чего с горы не дано, того и в аптеке не купишь...»

Здесь он ошибся. Было дано... А может, и по-другому: сотворено. Сотворено собственной судьбой. Собственной жизнью. Собственной смертью. И последующим за всем этим бессмертием...

# Однажды в Тарусе...

...родилось знаменитое стихотворение советской оттепели. Это «Физики и лирики» сегодня вполне забытого Бориса Слуцкого – одного из самых пронзительных и точных поэтов XX века. Соавтора незабвенных «Тарусских страниц», овеянных больше именами Цветаевой, Паустовского, Окуджавы, Казакова, Самойлова, Заболоцкого. Но почему-то – не философски драматичного, изысканно угловатого и лирически нервного Слуцкого. Того, кто как бы мимоходом в провинциальном калужском литературном альманахе блестяще зарифмовал смысл жизни, смысл времени... Но прежде с тарусских берегов Оки выступил с поэтическим «обращением к нации», стремительно удаляющейся из гуманитарных сфер в технические. Что-то она там обретет?..

*Что-то физики в почете.*

*Что-то лирики в загоне.*

*Дело не в сухом расчете,*

*Дело в мировом законе.*

*Значит, что-то не раскрыли*

*Мы,*

*Что следовало нам бы!*

*Значит, слабенькие крылья –*

*Наши сладенькие ямбы.*

*И в пегасовом полете*

*Не взлетают наши кони...*

*То-то физики в почете,*

*То-то лирики в загоне...*

«Физики и лирики», – вспоминал впоследствии Борис Слуцкий, – не совсем мое, отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 года в лодке на Оке близ Тарусы, где с Таней мучились от жары и мух. Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно. Как космополит из «Крокодила», ругал литературу, своих тестей, Арбузова и Паустовского, а потом, разошедшись, до Л. Толстого включительно. Говорил о своем происхождении, о том, что «Та-

руса была наша», и т.п. Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю. А потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался. Что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте... Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом... Товарищи по ремеслу сперва отнеслись к «Физикам и лирикам» как к оскорблению профессии... Ругали горячо, зло... Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Ашукин включил название стихотворения в свой сборник «крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести».

Борис Слуцкий, скорее всего, ошибался насчет малой «крылатости» своих строк. Просто крылья его метафор и рифм не так просто было расправить и разогнать до обретения ими нужных подъемных сил. В тех же провинциальных «Тарусских страницах» размаха «крыльев» этих было вполне достаточно для высоконравственного поэтического полета.

*Надо думать, а не улыбаться,*

*Надо книжки трудные читать,*

*Надо проверять – и ушибаться,*

*Мнения не слишком почитать.*

*Мелкие пожизненные хлопоты*

*По добыче славы и деньжат*

*К жизненному опыту*

*Не принадлежат.*

*(«Тарусские страницы», 1961 г.)*

Если забыт нынче Слуцкий, то это – не его проблема. Это – наша беда. Экономящих время, экономящих честность, экономящих жалость...

*Мне не хватало широты души,*

*Чтоб всех жалеть.*

*Я экономил жалость*

*Для вас, бойцы,*

*Для вас, карандаши.*

*Вы, спички-палочки*

*(так это называлось).*

*Я вас жалел, а немцев не жалел.*

*За них душой нисколько не болел.*

*(«Тарусские страницы», 1961 г.)*

Когда фронтовой советский офицер вдруг, как бы извиняясь, признается в том, что «не болел душой» за немцев – это странно. Но только – поначалу. Потом – больно за него, за насмотревшегося военных зверств и, тем не менее, сумевшего сломать в себе тотальную ненависть к врагу в лице пиликающего на гармошке перед неминуемой смертью пленного фрица.

*Мне – что?*

*Детей у немцев я крестил?*

*От их потерь ни холодно,*

*ни жарко!*

*Мне всех – не жалко!*

*Одного мне жалко:*

*Того,*

*что на гармошке*

*вальс крутил.*



*(«Тарусские страницы», 1961 г.)*

Если кто-то жизненный опыт собирает по крупичкам, то Слуцкий – по осколкам: мин, снарядов, судеб, эпох... Оттого, видимо, так колючи с виду и нарочито угловаты его накрепко сбитые рифмы и выкованные из них стихи. От этого же, скорее всего, тяга Слуцкого к не менее тертому судьбой Николаю Заболоцкому, обретшемуся после тюрьмы в Тарусе. И, очевидно, сыгравшему не последнюю роль как в целеуказании ненадолго пришвартовавшегося к окским берегам поэта-фронтовика, так и подарившему литературное бессмертие захолустному городишке альманаху.

«Однажды, уже в 1958 году, летом, я приехал к нему (Заболоцкому) в Тарусу, – вспоминал Борис Слуцкий, – и мы провели вместе несколько часов... Мы никогда или почти никогда не говорили с Н.А. о его темницах... На общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: «Ну, как там было?» – он ответил не распространяясь: «И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо». Кажется, за шесть лет он написал одно только стихотворение... «Где-то в поле возле Магадана» написано поздно».

Проблема вынужденной поэтической немоты была близка и Заболоцкому, и Слуцкому. Но последний еще в начале 60-х пытался прорвать ее неслыханной на ту пору «свободой слова». И втиснуть эту «свободу» в нечаянно бод-

нувший советскую идеологию тарусский литературный альманах. Но даже при небывалом на тот момент либерализме, окутавшем в 60-е «тарусский парнас», освободить поэтическое слово Борису Слуцкому так до конца и не удалось. «Озвучить немоту» советского народа литературный альманах в полной мере не решился, дав лишь начальный кусок краеугольного стиха поэта:

*На экране безмолвные лики*

*И бесшумные всплески рук,*

*А в рядах – справедливые крики:*

*Звук! Звук!*

*Дайте звук, дайте так, чтобы пело,*

*Говорило чтоб и язвило.*

*Слово – половина дела.*

*Лучшая половина.*

*Эти крики из задних и крайних,*

*Из последних темных рядов*

*Помню с первых, юных и ранних*

*И незрелых моих годов.*

*(«Тарусские страницы», 1961 г.)*

И только через двадцать лет Слуцкому разрешили напечатать стихотворное продолжение его грозного «тарусского» требования «озвучить» советскую картину:

*Я себя не ценю за многое.*

*А за это ценю и чту:*

*Не жалел высокого слога я,*

*Чтоб озвучить ту немоту.*

*Чтобы рявкнули лики безмолвные.*

*Чтоб великий немой заорал.*

*Чтоб за каждой душевной молнией*

*Раздавался громов хорал.*

*И безмолвный еще с Годунова,*

*Молчаливый советский народ*

*Говорит иногда мое слово,*

*Применяет мой оборот.*

«Применяемость оборотов» Слуцкого не менее весомей чисто поэтического аспекта его творений. Мощные, высокоточные, хотя подчас и неожиданные рифмы поэта-фронтовика легко «достреливают» до нас из далеких уже 60-х годов. И это, пожалуй, единственный случай, когда защищаться от обстрелов осажденным не стоит...

# Марсель Пруст из Перемышля

«В том, что я существую на свете, повинен Перемышль», – признавался в своих мемуарах Николай Любимов, «повинный» в свою очередь, в том, что у нас с вами существуют Сервантес, Франс, Стендаль и Марсель Пруст. А также – Бомарше, Флобер и Мериме. Что они все разом заговорили по-русски. Вошли в наши дома. Поселились в наших сердцах, умах и душах. Расположились на самых видных полках тысяч библиотек. Стали родными. Стали желанными.

Он привел их к нам и «поставил» голос – этот удивительный человек, выдающийся переводчик, талантливый мемуарист, тонкий лирик, пылкий историк, страстный краевед, знаток калужско-перемышльской старины – Николай Михайлович Любимов.

Образованнейший калужский провинциал. Интеллигент. Тонкий знаток литературы и всего, что связано с ней. Певец старославянской старины. Обожатель богослужебного чина. Скептик богоборческих времен. Сын перемышльской учительницы (правда, с княжескими корнями) и обычного землемера (с корнями духовными). Бесконечно влюбленный в родные приокские дали. В маленький на горе Перемышль. В его согревающую душу провинциальную старину и не стареющую новь горячих чувств к родным пенатам.

Любимова в калужских весях раньше поминали не так часто. Можно сказать, почти никак. Для литератора такого масштаба – странно: отчего так равнодушны земляки? Да и сейчас эта странность остается непреодоленной. 100-летний юбилей прошел молчком. На днях исполнилось 105 лет со дня рождения Николая Михайловича – картина та же.

Любимов никогда не подпевал. А исполнял всегда свою партию: и в жизни, и в литературе. Она изрядно диссонировала с советской субкультурой. С наработками экстраординарных большевиков. Последних Любимов причислял к разрушителям: и в жизни, и в искусстве. Не боялся быть крамольным в мемуарах. В ставшей уже знаменитой историко-филологической трилогии «Неувядаемый цвет». Где еще в советские времена раздал «всем сестрам по серьгам». В том числе – и местным вождям революции. На беду, потомки многих из них впоследствии оказались у идеологических рулей калужских райкомов и партийных газет. Отвечали за звонкость агитационных плакатов. Что, ясно дело, не способствовало популяризации творчества выдающегося отечественного литератора у него на малой родине – в Перемышле, и начальствующей над ним Калуге.

Честно говоря, более поэтичных строк об этом маленьком городке на правом берегу Оки я ни у кого больше не читал. И наверняка не прочту. Наберем-ка побольше воздуха в грудь. И – споем гимн маленькому неприметному Перемышлю, сочиненный русским Марселем Прустом: «*Вслуши-*

*ваясь в грустный, невнятный, но неотступный зов певучих, плывучих далей, среди всей этой задумчивой тихоструйной, самообытнной захолустной прелести, в этом малом уютном мирке, в этом уездном городе, отнюдь не дремотном, жившем жизнью неторопливою, не напряженною, но тем глубже вбиравшей в себя все впечатления, то хранившемся за сугробами выше крыши, то овеваемом нежащим, смутно волнующим, смутно тревожащим, что-то обещающим, с весеннего разлива дующим ветром, то засыпаемом черемуховым, сиреневым, вишневым и яблоневым цветом, полнившимся то ароматом цветущего моря лугов, то винным запахом золотобагряного листопада, то задорным журчаньем первых ручьев, то деловитым, важным и добродушным гуденьем майских жуков, то весельем говорливых квакуш, то самозабвенною соловьиною песнью, то щемяще-прощальным журавлиным курлыканием, в городке, осененном крылами пяти церквей с их реявшим в воздухе вечерним и утренним звоном, звуковые волны которого сливались с волнами голубого и синего света, и провел я первые свои семнадцать лет».*

Когда я это прочел впервые, то подумал: они наверняка должны были быть знакомы – наш Николай Любимов и их Марсель Пруст. Или знакомы, или дружить, или вместе прогуливаться по одним и тем же улицам. Может быть – русско-го Перемышля, а может быть – французского Комбре. Наверняка должны были быть дружны меж собой и их матери, к которым и маленький Николай, и маленький Марсель ис-

пытывали нежнейшие чувства. Которых боготворили.

Мне показалось, они должны были одинаково дышать, одинаково смотреть, чувствовать схоже и рассуждать. Коро-че – тождественно жить. А именно: рождаясь в строках напи-санного. Не где-то отдаленно от письменного стола, от пишу-щей машинки, а внутри нее – точно в утробе матери. Пруст, по сути, открыл, а Любимов чутко уловил феномен новой ли-тературы. Его очень точно охарактеризовал Мераб Мамар-дашвили, размышляя о прустовском опыте. «Он состоит в том, – отмечал выдающийся отечественный философ, – что в XX веке отчетливо поняли старую истину: что роман, текст есть нечто такое, в лоне чего впервые рождается сам автор этого текста как личность и как живой человек».

Пруст и Любимов родились в литературе. И не под Па-рижем, и не под Калугой, а на белых листах, аккуратными стопками разложенных на письменном столе. Источающих неутоленную страсть бесконечно изящного слога. Вселяю-щих веру в насыщение смыслами всего, что обретается во-круг нас. Дарящих счастье усталого путника, припавшего в конце пути к источнику живительной влаги. Имя ему – Сло-во.



# Молитва путейца

Вообще-то я не знаю, молимся мы или нет. Пока что не слышал. Ну, кресты нательные, может, кто и носит – как под рубашкой чешет, глядишь, и обнаружится, а вот насчет молитв врать не буду. Да и солоно молитву как расскажешь? А не солоно – не с руки. Не получается без соленых-то слов вещать. Не пришлось тому выучиться. Или учеба сразу не задалась, или какие прорехи в образовании выискались. Только не можем – и баста.

Так вот, когда-то станция, где находится наша ПМС, называлась Сергиев Скит. Но об этом из местных никто не помнит, потому что их, местных, по сути-то, и нет. Все – приезжие. Кто – десять лет назад, а кто и все двадцать... Да и 101-й километр вот он, рукой подать. Так что все залетные – без корней. Точно, какие у путейца-железнодорожника могут быть корни?..

– Я на Тихорецкой, допустим, родился, – тыкая лопатой мерзлую щебенку, предался как-то воспоминаниям на разгрузке полувагонов стропаль Вася, что вместе с родителями-путейцами в 60-е годы где-то по Кубани мотался. – Сестра – в Староминской...

Василий худой, жилистый мужичок с крестьянской такой хитринкой. Ходит не спеша, лениво подшаркивая стоптан-

ными кирзачами: «Ноги-то, чай, свои – не чужие. Чего ради буду их понапрасну бить...».

Каждое утро около семи городской автобус выплевывает меня на пустой пристанционной площади напротив здания вокзала. Наваливающийся откуда-то из-за леса полумрак. Пара-тройка дремлющих наискось от перрона такси. Тут же – в форме потрепанного старого чемодана – пивной ларек. Уличные фонари выхватывают из темноты раскидистый одноэтажный дом с придавленными небом мелкими башенками. У его входа, на стене, – мраморная доска. Прочитать ее можно только ночью. Или – ранним сумрачным утром, когда освещение ложится под нужным углом на выгравированный серыми буквами текст. Поэтому, видимо, никто из местных содержания доски не знает. Я выучил его наизусть. И повторяю как молитву. По утрам. Когда в очередной раз перемеряю свой положенный километр до путейских мастерских.

...Такое-то отделение Императорского Православного Палестинского общества. Век двадцатый. Самое начало. С фотографии глубоко и умно смотрят ладно скроенные породистые господа. Все – в добротных гражданских мундирах с поднимающимися почти до плеч двумя рядами массивных металлических пуговиц. В центре – за столом – похожий на артиста Алексея Петренко величественный и гордый председатель – губернатор Офросимов. Не без его усердия, как гласят предания, местечко наше когда-то Сергиевым Скитом и нарекли. Я долго всматриваюсь в лица остальных членов

губернского собрания. Пытаюсь расшифровать их несуетливые раздумчивые взгляды из столетнего далека. Как вы говорите – «месседж». Пытаюсь расшифровать – и не могу...

Под ногами мерно похрустывает снег. Мерзлую утреннюю тишину изредка прокалывают лопающиеся в воздухе сигналы пристанционного репродуктора. Они недолго снуют между кустами придорожного боярышника и скоро растворяются в утренней немоте нашего полустанка. «Внимание, поезд! – заученно бубнит откуда-то с верхних электроопор металлический голос дежурной. И после механической паузы: – По второму пути. Из Воротынска».

Я уже знаю, что через пару минут со стороны того самого Воротынска раздастся глухой далекий гул. Словно приглушенные большими километрами раскаты грома. Или – отдаюсь на волю фантазии – той великой старинной сечи, что грузно нависла над нашим местечком более пяти веков назад. Грохот скорого по угорскому мосту всякий раз напоминает мне о Великом стоянии. Тут, по преданиям, где-то в окрестностях наших мастерских, русские витязи и располагались. А по ту сторону Угры – татары. Потоптали тысячами конских копыт росвянские заливные луга, пометались вдоль правого берега Угры и убрались восвояси. Как растворились. Оставили Русь в покое. Только-то беленький, словно игрушечный, монастырь после этого чуда тут, по левую руку от нашей ПМС, и возрос. Так его полтысячи лет назад и нарекли – Спас на Угре. А по правую – тот самый Сергиев

скит. Но, как я уже говорил, много, много спустя...

...На мраморной доске – строгий тонкий профиль женщины лет сорока – сорока пяти. «Да монашка там какая-то», – нехотя поясняют местные, ориентируясь, очевидно, на иноческий головной убор, запечатленный в мраморе. Что за монашка и какое ей было дело до нашего медвежьего угла сто лет назад – о том лучше не спрашивай. Да, заезжала в Спас. Помолиться за ставшую ей когда-то родиной Русь православную. После – в Сергиев скит направилась. «Основанный в память в Бозе почившего Великого князя Сергея Александровича...» – достаю откуда-то из уголков своей памяти. В 1905-м, во время революции, был убит. Жена, Елизавета Федоровна, с горя ушла в монастырь. И в память любимого мужа посвятила остаток жизни благотворению. Вплоть до того момента, покуда в 1918 году палачи не сбросили ее в альметьевскую шахту, что на Урале. Такие вот дела...

Наша ПМС (если кто затрудняется – путевая машинная станция) – это затолканный в лес густой пучок железнодорожных веток с вспучившимися кой-где на них ангарами цехов: механическим, ремонтным, сборочным... По стране таких ПМС сотни. И каждая бдит за вверенным ей участком железных дорог. Где рельсы переложить, где шпалы заменить или вовсе звенья целиком отремонтировать. Вагоны, полувагоны, моторки, дрезины, щебень... Сотни три крепких грубоватых мужиков с лопатами, кувалдами и ломami... Приросшие к их спинам оранжевые «желтухи» день-день-

ской пестрят на запыленных снегом путях, на сложенных бутербродами штабелях железнодорожных решеток. Гукают совами и толкают туда-сюда вагоны хлопотливые «хозяйки». По-динозаврьи вытянув громадные свои шеи, медленно vorочают железными колесами двадцатитонные путейские краны. Скрипят тросы. Весь этот муравейник зовется «базой». Точно на море – порт. От него отчаливают рабочие поезда в многодневные туры по перегонам. Сюда же, на место бывшего Сергиева скита, возвращаются изможденные с плетей или укладок. Такая вот наша обитель...

...Передо мной список монашествующей братии. Читаю. Акимов Петр Димитриевич – 1887 года рождения, из Орловской губернии. Поступил в число испытуемых в 1909-м, в число послушников зачислен в 1910-м, в 1914-м прошел пономарское послушание. Алабин Михаил Алексеевич – 1893 года рождения, скопинский мещанин. Поступил в число испытуемых послушников в 1912 году. Их около ста... Пытаюсь представить иноческие лица. Услышать разговоры. Проникнуться той неспешной монастырской суетой. Перед глазами – окруженный сосновым бором небольшой храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Где-то по правую и по левую руки от него – сараи, колодец, погреб. Тут же покоящийся в сосновом благоухании инвалидный дом. Несколько поодаль – водонапорная башня...

...Башня, пожалуй, то немногое, что я помню из своего пионерлагерного детства. Еще где-то недалеко от нее – фут-

бол. Наша команда «Белка» бьется с пацанами из соседнего пионерлагеря «Спутник». Я играю в защите. Удар от ворот. Разгоняюсь. Хлоп – и вслед за мячом через все огромное футбольное поле летит мой кед. Зрители хохочут. И девчонки из нашего пионерлагеря – тоже. Я жалко ковыляю в одном носке через весь футбольный газон перед сотнями озорных глаз. С досады и позора хоть сквозь землю провалились. «И поле футбольное тут какое-то здоровое, – досадную про себя. – Было бы поменьше, может, не так сильно по мячу бы колотил. Глядишь, и с обувкой бы остался...» Только через сорок лет я узнаю, почему так чересчур просторно нам тогда игралось в этот непослушный мяч. Мы скакали и резвились на том месте, где был когда-то скит во имя преподобного Сергия Радонежского и в память в Бозе почившего великого князя Сергея Александровича: храм, кельи, странноприимный дом, погребца, колодец...

... После смены отшагиваю положенный километр от мастерских до станции. В глубоком ущелье между промерзших до самых арматурин шпал особенно зябко. Холод копится в шпальном каньоне всю зиму и, кажется, живет там своей обособленной от остальной погоды жизнью. Он, этот холод, – главный враг путейца. Мы с ним постоянно воюем. А еще – со снегом. Так она у нас и зовется, эта война, – снегоборьбой.

В обратную сторону, с работы, снег топчется быстрее. Покуда в растопыренных колючках придорожного боярышника не мелькнут красноватенькие пузики снегирей. Они с неко-

торых пор поселились в пристанционном переулке. Сразу сбавляю скорость. Останавливаюсь и, задрав голову к макушкам кустов, долго наблюдаю шумную суету милых красных комочков. За зиму я научился различать приглушенные звончки их маленьких серебряных колокольчиков. Вроде доносящегося откуда-то издалека мелодичного шуршания хрустальных бусин...

Большой городской автобус долго барахтается в пристанционных сугробах. На залепленной вкривь и вкось объявлениями остановке ветер яростно треплет самое старое из них: в местном клубе такого-то числа молебен. В память священноймученицы Елизаветы Федоровны. Выцветшее от времени объявление это я уже читаю полгода как минимум и не ведаю, состоялся молебен или нет. Слышал только, что хотели было на привокзальном пяточке вместо пивного ларька построить храм во имя оставившей здесь когда-то свое любящее женское сердце святой. Но по каким-то соображениям передумали. Не знаю, по каким. Да и не хочу знать...

# Медогонка

В омшанике всегда было прохладно и сухо. Запах воска перемежался с терпким полынным духом и крепким куревом дедушкиного дымаря. Саманные стены дед украшал пчелиными рамками собственного изготовления. На полках хранил большие восковые лепешки, нехитрый столярный инструмент, переливающуюся янтарем вощину. Из-под соломенной крыши, помню, вечно свисали мотки подобранной на большаке алюминиевой проволоки, кирзовые сапоги – подарок зятьев, старые велосипедные цепи, несколько сшитых из старых пододеяльников пчелиных масок, хомут, тележная дуга и вожжи. На земляном полу теснились кадка с подсолнухами, ларь с пшеницей, сорокалитровые молочные фляги под мед и медогонка. Последнюю расчехлял особенно торжественно. Бережно стаскивал мешковину. Отирал бока. Вхолостую прокручивал центрифугу – проверял, хорошо ли вертится.

Затем дед с дядей Петей надевали маски, халаты и отправлялись к ульям. Меня не брали. Да я и сам не хотел – боязно. Особенно когда роились или когда дед задумывал проводить очередную ревизию на пасеке или гнал мед. Пчелы тогда начинали беситься и жалить. Страшно гудели на полете, с разгону ввинчивались в волосы, отчаянно бились



о затылок, долго не давались, наводя страшную панику и заставляя что есть мочи молотить руками по голове. Тщетно – пчела, нагудевшись, в конце концов, кусала куда-нибудь в шею. Ее надо было аккуратно, не раздавив, снять и откинуть в сторону. Иначе на запах тут же могла подлететь вторая и вступить за свою товарку.

У деда было все гораздо проще. Пчелы его, конечно, кусали тоже – помню, как он клал свои вздутые жилистые руки на стол, садясь обедать, – но обращать на это внимание дед не умел. Стоит над открытым ульем – сетка поднята, руки голые, пыхнет дымарем для порядка – и продолжает возиться. Одна пчела за руку цап. Он ее за крылья – и в сторону. Другая ширнет – он ее также. И глазом не моргнет.

Я со страхом наблюдал за происходящим из зарослей малины, плотно опоясывающих нашу пасеку. «Дедушк, больно же! – сетовал я из засады на злобных насекомых. – Рукавицы бы хоть надел...» «Да ну, нет ничего, – утешал дед, – токо ж полетают – и все...»

Мед гнать, впрочем, я уже был тут-как-тут. Но из омшаника предпочитал не высовываться. Будто с передовой, с пасеки в омшаник и обратно метался с полными рамками и покусанными руками дядя Петя. У него уязвимым местом были только руки – в отличие от меня дядя Петя был полностью лыс и не носил, как дед, курчавой бороды. Добытую дядей Петей рамку опускали в просторное чрево медогонки. Раскручивали ее. Под действием центробежных

сил мед «выстреливал» из запечатанных сот на стенки, сползал на дно, копился там золотистой, тягучей массой и ждал очереди переселиться в точку окончательной своей приписки – сорокалитровый молочный бидон.

Когда наполнившийся медом агрегат опрокидывали во флягу, мне поручалось следить за тем, чтоб тягучий медный ток направлялся точно в цель. Для чего выдавалась ложка, которая, впрочем, успешней заменялась пальцем. Особенно в финале, когда янтарная струйка истончалась до золотистой нити и медогонку вновь опрокидывали с головы на ноги. На краях ее, однако, продолжала нависать драгоценная сладость, спасти которую, иначе как облизав эти края, не представлялось никакой возможности.

Я и облизывал. Клал становившуюся неудобной ложку на стол и, обводя указательным пальцем липкие края медогонки, «утилизировал» отходы, отправляя их быстро в рот. Задача оказалась непосильной. Уже на первой партии я понял, что не справляюсь и требуется подмога. Рот свело от приторной сладости. В животе все слиплось. И я с тоской смотрел на покусанных, но бодрых деда с дядей Петей – они и не думали заканчивать. Мед лился рекой. Год выдался на славу. Гречиха в тот год цвела под Тамбовом, как бешеная, обеспечив пчелиные закрома рекордным медосбором. Это меня и сгубило...

С тех пор я... все равно не прекращаю любить мед. Он пахнет дедовым омшаником. Сотами. Свежеоструганными

рейками. Соломой. Сыромятной кожей для хомутов. Высоким степным небом, где подолгу трепетали голосистые жаворонки именно в тот год, когда цвела гречиха...

# Восстание против смерти

Гагариных оторвалось от Земли на самом деле двое: старший и младший. Первый прежде нащупал дорогу в космизм. Второй уже век спустя – в космос. Первооткрывателем значился Николай. За ним уже потянулся Юрий. Оба – из самой глубинки: Тамбовской да Смоленской. Космос, стало быть, оттуда видней. Ближе – так, что ли. А может – и не ближе... Разве что ключ от него именно в тамбовских Ключах и обнаружился. В самом, что ни на есть русском захолустье. Здесь в 1829 году и удосужился появиться на свет первый русский космист Николай Федоров. Он же – незаконнорожденный сын князя Гагарина. Звездная фамилия еще вон когда позвала к звездам...

Про него мало что доподлинно известно. Хотя жил страшным скромником и библиотечным анахоретом не так уж и давно – практически вровень с Толстым. Даже был временами с ним накоротке. Во всяком случае – до богохульных выходок графа. Притягивал своей философией воскрешения Достоевского и Владимира Соловьева. Вдохновлял космоутопией вечной жизни Циолковского и Пастернака. Эхом радости от оживления всех предков до единого отдавался в брюсовской «Невозвратности» и платоновском «Чевенгуре». Каким-то чудом узаконился даже в русском авангарде.

Точнее – угадался в контурах теней, отбрасываемых на революционное искусство то ли Шкловским, то ли Малевичем, а то – и самим Владимиром Владимировичем Маяковским. Да и, выясняется, иные фильмы Сокурова – 100-процентный федоровский мотив. А именно – воскрешения павших...

Суть всего лишь в легкой оппозиции: воскресение или воскрешение? Но легкой ли?.. На место традиционного для христианства трансцендентного воскресения в день Страшного суда русский философ Николай Федоров ставит всеобщее воскрешение из мертвых. Без избранных. Без разделенных, как принято в религиозной традиции, на тех, кому – в ад мучиться, и тех, что – в рай лицезреть. Ибо – только человеку, как считает русский Сократ, дано спасти мир от энтропийной разрухи. То бишь – от хаоса, к которому приговорена Вселенная слепой природой. Ее, эту природу, Федоров тщится поставить на путь истинный. Путь этот должен указать человек. В нем, как считает, библиотечный мудрец, Всевышний спрятал главный запал дальнейшего развития Вселенной.

Как, впрочем, и его самого, человека, двигателя Вселенной. То есть – его преобразование. В первую голову – нравственное, оплачиваемое по самому высокому курсу: возвратом ссуд на жизнь всем, кто выдал тебе их ранее. То есть – воскрешением отцов из мертвых. Как? Лучше не спрашивайте. Точнее – попробуйте принять необходимость этого постулата на веру. А о реализуемости поговорим после...

Итак: главный враг человека – это смерть. А с врагами надо бороться. Всем миром. Даже больше, чем всем – живыми и павшими, которых для этой борьбы Федоров предлагает воскресить. Иначе не исполнится божественное предназначение человека. Ему не сбыться. Не бывать самим собой. Точнее – тем, каким его хотел бы видеть Всевышний. Найдено главное дело для каждого на земле. Общее для всех. Борьба со смертью. За воскрешение и преображение. Федоров именно так и озаглавит потом свой краеугольный труд – «Философия общего дела».

Дело это, понятно, не только земного масштаба. А больше – космического. Если угодно – астрофизического, когда границы затеянного выпирают далеко за обозримый горизонт, уносясь к бесконечным звездам. И «общему делу» уже тесен человек как таковой, его усовершенствование вплоть до нескончаемости. «Делу» нужна Вселенная в целом. Ибо без преобразовательной деятельности человека она пропадет. Звезды застынут, как толкует физика. Скажем – то же второе начало термодинамики. Дабы космос «согреть» – потребно человеческое дыхание. Цивилизация. Разум. И – смертный приговор физиков для остывающей Вселенной может быть оспорен. Отменен. Надо лишь, как увещевал Федоров, навалиться всем миром. Даже больше, чем всем: миром по ту сторону жизни и по эту. Короче – стереть между этими мирами грань.

Мудрец сетовал на неродственность и небратство. Все

раздираемо противоречиями. Кипит вражда и грохочут войны. Причины – больше природные. Те, что сотворены нерегулируемым космическим хаосом и отпечатком легли на род людской. Посему – природе, космосу нужен опытный поводырь. Дабы те перестали искушать несовершенных человек: ссорить их и вводить в гнев. Несовершенства, таким образом, должны улечься. Люди – поумнеть. Космос – облагородиться.

Русский космизм, званный в этот мир Николаем Федоровым, взял на себя роль пастора звезд и галактик. Духовника квазаров, пульсаров и черных дыр. Планет – в частности. Земли – в том числе. Всего, на что падает взгляд вверх. Туда, где человеку дано навсегда остаться самим собой. То есть – творимым и творцом.

# Раздевалка

Раздевалка в литейке тесная. Шкаф – на самом ходу. «Леха, переселяйся, – теревит по утрам начучастка Родионов, – а то педали оттопчут». «Да ладно, – прыгая на одной ноге, тычу другой в заскорузлую литейную штанину. – Боюсь. Примета плохая».

Сашка с шихтового трижды менял. Два раза охрана ловила – шатался никакой. Один раз ушел через забор. Сожрал, дубина, мои бутерброды и разворошил схрон мужиков со спиртом. А все место в раздевалке поуютней выискивал. Блокнотик всегда при себе такой имел – долги свои туда скрупулезно записывал. Займет полтинник и – чирк в блокнот у тебя прям на глазах: мол, Лехе в среду вернуть 50. Типа – клятва у него такая была публичная. Официальная. Попробуй не займи...

Да и мелкий он какой-то. Роба велика. Рукава в три колена закручены. И штанины – тоже. Сам кое-как по-холостяцки наживил. Вечно румяный. Веснушки. Откуда-то из района прибыл. Как обед – сидит и преданно так, по-щенячьи, лижет взглядом мои бутерброды. «Держи», – протягиваю один с сыром. «Понимаешь, ситуация такая у меня сейчас сложная, – пропечатывая прокопченными пальцами кругляши колбасного, горестно вздыхает напарник. – Но ты не думай: как



поднимусь, сразу же отдам».

Да я и не думаю. Про брата своего старшего все что-то плел. Мол, тот «поднялся» и «зажил». Женился даже. А Сашка, что – хуже? Поднакопит – и тоже. «Женишься, стало быть?» Сашка делается еще румяней. Заметно приосанивается. Потом вдруг напускает на лицо серьезность – узы брака, сложившиеся в семье брательника, как выяснилось, полны издержек. «Первые три года было особенно тяжело, – демонстрирует знание проблемы Сашок. – Дрались».

Куда делся Сашка – не знаю. Помнится, они с Вертолетом как-то пересеклись на почве 8 Марта. Вертолет здоровый, 7-пудовые опоки рвет вручную – только так, кровь сдает, почетный донор, одним стаканом не собьешь, а мелкого Сашка по пьяному делу где-то потеряли. Охрана нашла.

«Я же тебя просил: разбуди его, – сетовал на остававшегося в ночь маленького жилистого старика Перченко могучий Вертолет. – Эх, ты – пенсия!» Вертолетов – это у него фамилия такая. Откуда – не знаю, но уж больно хороша. Мне лично нравится. Но зову его по имени – Игорь. Коренастый, ноги – вширь, бицепсы – не охватишь. Когда знакомились, сурово набывчившись молча протянул ко мне весомый кулак – за кран-балкой, очередную плавку сливать. Слова считал излишними.

По раздевалке ходил шумно, редко вписываясь метровыми плечами в узкие проходы. Шкафы дребезжали как при землетрясении. Особенно чтит походы в столовую за льгот-

ными яйцами – их литейщикам за грязный труд давали. «Леха! – перекрикивая гул моей плавильной печи, приказным тоном отрывал от процесса Вертолет. – Здесь 11 штук – твои!». И торжественно ставил перед схваченными изолентой литейными башмаками картонный поддон с добычей.

Этих башмаков в литейке я переменял массу. Ими – прожженными, стоптанными, пыльными с металлическими ногами и без – забиты практически все шкафы у наших мужиков. Приходит пора, и их выбрасывают. И тогда мусорный ящик в раздевалке вскипает выбросами точно взбесившийся вулкан. Лава из литейной рванины то и дело пополняется избитыми прорехами суконными портками, куртками с вылизанными огнем локтями, майками, насмерть вставшими против любой стирки и обретшими запретный всяческой наукой цвет.

Жертвоприношению обмундирования, как правило, предшествует прощальная стирка дома. Открытые на кухне окна, литейный смрад, повальное головокружение у домочадцев. Пожамканный мундир сутками раскачивается на балконе и уносится обратно в цех – на верную смерть. Больше его уже никто стирать не будет. Через пару недель он упокоится в мусорном ведре заводской раздевалки.

Ее, кстати, однажды ремонтировали. Долго. Мучительно. Вставляли окна, двигали шкафы, мусорили, белили... Многого улучшили, что-то – наоборот. Но запах остался. Я не могу его передать. Он очень сложный. Как будто что-то только

что горело, потом это потушили, добавили квашеной капусты, машинного масла, пота, смешанного с окурками, хлорки и мятных леденцов. Не выветривается – и точка. В троллейбусе – даже неудобно. Руку подать знакомому – и то неловко: копоть литейная с запахом въелись – не оторвешь.

Механик цеха на спор обещал с этим покончить – соорудить на плавильной печи вытяжку. Даже снимал размеры. Брезгливо тер пальцем закопченные стенки камеры. Поднял палец на свет. На глаз оценивал толщину слоя сажи. Изобразив на лице озабоченность, брал в руки ветошь и размазывал черноту по всей ладони.

«Черт побери, не оттирается», – и, расстроенный, шел мыть руки под слив оборотной воды с печи. Изгрызанный ржавчиной короб пускал в себя несколько разновеликих струй. Из них нужно было выбрать ту, которая не бьет током. Что не охлаждает печной индуктор – иначе шибанет. Один раз еле успел отогнать уборщицу – сунулась под слив с ведром. А на индукторе – сотня киловатт. Вот дура...

Не понимаю, как можно мыть литейный цех: копоть, пыль, песок, КамАЗы... Обычно брал в руки шланг и разгонял тугой струей воды пылюгу в стороны. Куда она девалась дальше – не знаю. Может быть, знает Вера, что носилась у нас по цеху и раздевалке со шваброй?

Не помню, чтобы ее не было. В семь утра – Вера уже с ведром и тряпкой. В семь вечера – все с ними же. В промежутке – за прессом: яростно штампует всякую мелочь. Тяга-

ет, волочит... На работу почти бежит, переламываясь под тяжеленными сумками. С работы – опять не налегке. Редкое Верино отсутствие отмечается сразу – по первым утренним шагам в раздевалке. Понятно: на больничном...

Пинаю высунувшие из-под шкафа нос дырявые боты. За ними отправляю туда же обозначающий вынужденный Верин непригляд окурок. Мужики галдят. Протискиваюсь сквозь них к своему шкафу. Жму широченную клешню немого Саенко. Из всех слов ему лучше всех удаются матерные. Имя свое – Александр – трактует таким образом: Саса. Крутой мужик. Работяга. Замахнулся на меня как-то никелиевой отливкой – пескоструйку я у него, видите ли, отнял. Думал: подеремся.

«Здорово, Сасок!» – дружески дразнят и тискают Саенку мужики. Тот восторженно лапает их всех могучими ручищами и начинает тараторить что-то свое непонятное и веселое. Между открытыми дверцами шкафов привычно ловко лавирует начучастка Родионов и заученно бубнит: «Ну, Ле-ха, сколько тебе раз повторять: выбери ты себе нормальный и удобный шкаф и не топчись тут на самой дороге». «Не, а то удачи не будет...»

# Певец неволи

В середине 90-х он был достопримечательностью улицы Кирова – одной из главных в Калуге. В суконном, темно-го цвета длинном пальто, кроличьей шапке, с карломарксовской круглой бородой старик практически ежедневно дежурил перед выставленным на тротуар деревянным ящиком с разложенными на нем одинаковыми книжками в твердом грязновато-черном переплете.

Прохожие подходили к нему редко. Видно, опасаясь его несколько дремучего вида, пронзительного, достающего до самых печенок взгляда – когда с ехидной хитринкой, а когда и напитанного прокурорским обличеньем. Чувствовалось, что старик был особенный. Не такой, как все. Не торгош. Не заискивал. Не навязывался. Не хватал за рукав. И тем больше пугал и озадачивал.

*Среди холмов*

*В тайге сибирской,*

*Вдали от шумных городов,*

*В глухой деревне Пойма-Тинской*

*Лет двадцать пять стоит дурдом.*

*Растет, заборы расширяя,*

*Трудом больных строит дома.*

*А их везут. И нету края*

*Всем, кто тронулся ума...*

Как позже выяснилось, подобными, довольно нервными, со сбивчивым шагом, пропитанными щемящей тоской и болью стихами была переполнена книга, что лежала на деревянном ящике перед загадочным стариком. На обложке лаконично серебрились инициалы автора «Н.В. Бессонов». А под ними название – «ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ».

Однажды я осмелился и подошел к бородатому часовому в длинном пальто. Взял в руки шершавый томик. Старик оживился: «Почитайте». Я полистал. Серая дешевая бумага, размытые черно-белые редкие фото. Колонки стихов. А под каждым – дата и место сочинения: психбольница в поселке Пойма-Тина (где это?), Томская тюрьма, Красноярский изолятор, КПЗ г. Балахна, Черное море – теплоход «Колхида», областная психбольница г. Куйбышев, исправительно-трудовая колония г. Товарково, Волгоградская КПЗ, калужская психбольница «Бушмановыка», г. Дивногорск, г. Одесса, Смоленская тюрьма, «Матросская тишина» – камера № 237, село Константиново – Рязанский край и т.д.

Я не хотел покупать – не люблю тюремный фольклор. Но бородатый старик мне чем-то приглянулся. Не помню, заплатил ли я что-то за томик стихов или нет. Кажется, на радости, уличный поэт вручил мне его даром. Спросил, как зовут. Достал из кармана грубого пальто шариковую ручку и подписал: «Мельникову Алексею от автора. Н. Бессонов.

11.10.1997. г. Калуга». Больше книгу я не открывал. Она постепенно затерялась, пока я случайно не обнаружил ее у себя в гараже. И ровно через 20 лет открыл вторично.

*Жизнь, тебя я люблю!  
Не беда, что ко мне ты сурова:  
Раз попал я в тюрьму,  
А потом уже снова и снова...*

Одной лишь перестановкой слов из знаменитой песни Бернеса автор прочертил непересекающуюся с повседневностью параллель другого, неизвестного нам мира – гигантской тюремной галактики. Почти вселенной. Николай Бессонов обошел ее практически всю. Протрясся в зарешеченных вагонах, прошагал в тюремной робе, проплыл в затхлых каютах невольничьих ржавых корыт, промаялся на койках десятка психушек. И сохранил в себе силы признаваться жизни в любви. Даже такой невзаимной...

*Над Россией зарей  
Полыхает великая стройка.  
За тюремной стеной  
Та же плесень и та же помойка.  
Жизнь, за будущий день  
Мое сердце тревога сжимает –  
Слишком длинную тень*

*В наше время заборы роняют.*

Не помню, чтобы на родине кто-то сегодня вспоминал имя самобытного поэта Николая Бессонова, родившегося в 1929 году в калужской Хлюстинской больнице. Бунтаря и правдолюбца, кадрового заключенного и пациента психушек, мастеровитого слесаря и фрезеровщика, необычного стихотворца или, как сам себя величал калужский певец неволи, – «рифмача».

*Не издивенцем прожил я,  
Не пошла меня даром  
Ключевой водой Земля.  
Служил на ней я кочегаром...*

Некая «закопченность» поэтических строк Бессонова – повсеместна. Гарь и копоть жестокого, тюремного века легли на его страницы довольно жирным слоем и впитались в поэтический дар закоренелого жизнелюбца насовсем.

*Устало сердце. Мозг устал.  
И чай не согревает тело.  
Боль, как заостренный металл,  
По рукоятку в душу села...*

Впрочем, нет-нет да и вырывал Николай Бессонов свою тюремную лиру из-за колючей проволоки и писал этюды...



*Стаи журавлиные  
В синеве летят.  
По земле нежирные  
Тени их скользят.*

*Сок перегоняя  
К каждому листу,  
Землю разгрызая,  
Корни лезут в тьму.*

*Лес застыл стволами  
В гордости скрипучей.  
С запада стогами  
Выползают тучи.  
Лист щебечет, лижется,  
Стонут глухари.  
Буря к лесу движется  
На восход зари.*

Но это бело редко – передышки от больничных и тюремных палат. Большая часть стихов (как и сам автор) родились в больницах. И даже имеют посвящения выдающимся калужским эскулапам тех времен: просительно-негодующее – Александру Ефимовичу Лифшицу, главврачу «Бушмановки» («Отпустите меня, не мучая. Не подлец я и не хам»);

благодарно-уважительное – Самуилу Давыдовичу Шпигельману, завотделением Красного креста («Врач умными руками прощупал каждому живот»).

В череде посвящений калужского поэта-узника есть немало од в адрес... самих застенков, где томился Бессонов. А также – их надсмотрщиков. Как, впрочем, и их жертв – сокамерников поэта.

*...Чей пот поил поля России  
За мерзлый хлеб – мечты предел...  
Его вина? – Его убили  
За то, что он не повзрослел...*

Я листаю подаренную мне двадцать лет назад забытым калужским поэтом книгу. Читаю его роман в стихах. Название его простое и страшное: «Зачем нас мама родила?» («На Колыме спасенье – труд. Даешь две нормы – не убьют»). Возвращаюсь к стихам. Среди них – еще одно послание. На этот раз – некоему Нужненко из калужской психбольницы «Бушмановка». Кто такой Нужненко – Бог ведает. А стихотворение начинается так:

*Простите меня, если сможете,  
За то, что я правду искал...*

# Человек с Луны

Он родился за год до нового века. А может – целой эпохи. Родился прежде, чем родилось все вокруг: звезды, планеты, Вселенная. Возможно, даже упредил Большой взрыв. Угадал его будущий сценарий... Кто-то сказал про него: такое впечатление, что Платонов прочитал все написанные после него книги. Те, что еще были лишь в замыслах. Либо – в набросках. Либо – будущие авторы их еще обитали в колыбелях. Либо – обещали появиться только через века...

«Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость – жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того невероятного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей, – и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности...»

Загадка – откуда все это взялось. Такой язык. Такой сказ. Такое слово... Сам Андрей Платонов утверждал: с иных планет. «Моя родина – Луна», – признается он в одном из первых любовных писем своей невесте. Не верить ему сложно. На Земле слов меньше, нежели на ней в компании со сво-

ей космической соседкой. А если еще и с Марсом, Венерой да схлопнувшимся в черную дыру Тамбовом, то филологический феномен Платонова приобретает ярко выраженные черты многомерного пространства. С потаенными для большинства читателей измерениями, но легко обнаруживаемыми и пускаемыми в литературный оборот платоновским гением.

Пространство это, как мог бы подтвердить Эйнштейн, искривлено. Местами скомкано под тяжестью громоздких масс. Где-то растянуто. А рядом, наоборот, – ужато. Прорежено пустотами. Заполнено ничем. По сути – вакуум, который, исходя из последних догадок астрофизиков, способен бурлить, кипеть и вспучиваться черти какими сущностями. Модель литературного космоса Платонова примерно та же – клокочущее неуловимыми измерениями бытие. «Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благоденствен, что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было...»

Породнившись с Луной, он всю жизнь конфликтовал с Солнцем. Строил каналы, заполнял шлюзы, копал колодцы, дабы вылечить хроническую черноземную сушь, всякий раз к августу изъедающую ломкими трещинами тамбовско-воронежские равнины. В союзники сей битвы призвал даже Петра, дав первый мощный литературный залп «Епифанскими шлюзами». И не откуда-нибудь прицелился, а из сколлапсированного за мещанско-бюрократический радиус Тамбо-

ва.

Из которого, казалось, уже ничего не может проистечь, кроме смерти. Провалившиеся в черные дыры кометы никогда не возвращаются на свои курсы... «Может быть, мне придется здесь умереть», – тоскливо прогнозирует свою будущность в этой вселенской ловушке Андрей Платонов. И – не умрет. А вновь родится. И причастится «Городом Градовым». Некоторые кометы, провалившись за радиус Шварцшильда, оказывается, способны выскочить из черной дыры и возвратиться на круги своя... Эйнштейн бы в этом месте крепко задумался. Но он ведь не читал Платонова. А если бы читал, то наверняка подредактировал бы свою теорию относительности.

Его язык называли по-всякому: неуклюжим, дологическим, избыточным, сатирическим, трагическим, псевдоканцелярским, да мало ли еще как. Любой эпитет в отношении главного изобретения Андрея Платонова имел бы толику правды. А изобретение это у генерирующего постоянные технические новшества самородка было одно – платоновский язык. Даже не изобретение, вроде то и дело усовершенствуемых им электроагрегатов, а открытие.

Андрей Платонов свой язык не изобрел, а открыл. Как открывали когда-то прячущуюся за дальними океанами Америку. Правда, в отличие от Колумба, нашедшего неизвестный континент случайно, Платонов точно знал, что его «филологическая Америка» есть. Надо только поднять литера-

турные паруса и до нее добраться. А не исключено проследовать и дальше – до родной Луны... «Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него – сотворение мира. Этим люди и держатся».

# Евангелие от Исаковского

Как ни корпи сегодня над учебником истории ушедшей страны, как ни усердствуй, он наверняка будет неполным, а скорее, даже ущербным – без его песен. Без его стихов. Без его глубокого чистого баритона. Без его искренних, честных убеждений. Как, впрочем, и не менее чистосердечных и заблуждений – тоже...

Хотя есть подозрение, что он, этот учебник, вполне может остаться без его имени. Как остаются подчас безымянными истинно народные творения. Те, что непосредственно вынимаются из народной души и без посредничества профессиональных сочинителей, музыкантов и ваятелей прямиком отправляются в вечность. Чтобы уже там поведать главную истину о своих творцах. Проживших жизнь так ярко, как сумели, и спевших песнь настолько звонко, сколь смогли...

*Растаял снег, луга зазеленели,  
Телеги вновь грохочут на мосту,  
И воробьи от солнца опьянели,  
И яблони качаются в цвету...  
Раскрыты окна. Веет теплый ветер.  
И легкий пар клубится у реки,  
И шумно солнцу радуются дети,  
И думают о жизни старики.*

Миша был двенадцатилетним ребенком в бедной крестьянской семье. Девятисотый год. Неброская заштатная Смоленщина, скудные нивы, бескормица, безграмотность, нужда и будущее без больших надежд. Да и без самых мелких благодатных – тоже...

*Я вырос в захолустной стороне,  
Где мужики невесело шутили,  
Что ехало к нам счастье на коне.  
Да богачи его перехватили...*

Щемящая нота недополученного детства, недоигранных в мелкие годы проказ, непрочитанных, раскрашенных яркими красками сказок, недорассмотренного дальше деревенской околицы необъятного, прекрасного мира – все это, нет-нет да и пробивалось как в ранних, так и в более поздних стихах Исаковского. Мучительно пытавшегося совместить в себе нежную любовь к родным смоленским рощам и лугам с отчаянной грустью о тяжелых буднях милой сердцу малой отчизны, венчающей рожденных ею в мир сирот на неизбежное блуждание впотьмах без радости и счастья.

*Никто мне в детстве не дарил игрушек,  
Ни разу я на елке не бывал.  
В лесу я слушал, но не птиц, а птушек.  
Как мой отец пернатых называл.*



*Не плавал я в проливе Лаперуза,  
Морских просторов не видал пока.  
И не читал я Робинзона Крузо,  
А знал лишь про Ивана-дурака...*

Этот щуплый подслеповатый малец из деревни с многогортаящим названием Глотовка станет вскоре первым грамотеем на множество нищих угорских верст вокруг. Первым букварем, ясное дело, окажется Псалтырь. Главными уроками – отпевание усопших. Скучные дворы и чахлые пашни способствовали тому, чтобы людской поток на местные погосты никогда не иссякал.

Возможно, именно отсюда есть пошла напевность в будущем написанных Михаилом Васильевичем стихов – с молитвенности того еще, впервой прочитанного им когда-то, слова. С напевности слогов, скрепляемых всего сильнее, когда они становятся молитвой. Когда последней именно престало звучать, обрести глас и возродиться в звуке. Обрести поэтические крылья в народном прощении и ощутить их подъемную силу в искренней мольбе.

Юный сельский грамотей самоуком постигает своеобразный молитвословный канон безграмотных селян. Складывая по их уговорам жалостливые молитвенные прошения к сородичам. И рассылая оные в дальние края. Дабы отыскать в разъединенных набожных сердцах отклик на смиренно сложенные чистые и горькие притчи, что выходили из-под пера

будущего псалмопевца Союза.

Исаковский впоследствии смог угадать, найти, раскрыть главный мотив и нерв нового советского молитвословного звучания. Не уступающего по степени любви и проникновенности впопыхах отмененным евангелиям. Одновременно при этом высвечивающего многие нелепости бурного времени, что революционно взломало устоявшийся лексический ряд. И все же – мотив того именно звучания, что облеклось в итоге в человеческий голос грозной эпохи. Простой, между тем, голос, нечужой, понятный и ровный. Словом – родной...

*Ваня, Ваня! За что на меня ты в обиде?  
Почему мне ни писем, ни карточки нет?  
Я совсем стосковалась и в письменном виде  
Посылаю тебе нерушимый привет.  
Ты уехал, и мне ничего не известно,  
Хоть и лето прошло и зима...  
Впрочем, нынче я стала такою ликбезной,  
Что могу написать и сама...*

В голосе Исаковского всегда верно угадывался и он сам. Чистые, ясные, правдивые, а подчас ироничные рифмы вполне были созвучны чистоте помыслов, верности слову и абсолютной правдивости самого Исаковского. Он был точно таким, каким вы видите его в стихах. Никакой аберрации восприятия – «все, как в книжке». Кому, как не ближайшему

другу поэта – великому Александру Твардовскому, – было судить о том, каким был на самом деле его нежно любимый Михась.

«Лирика Исаковского, – писал Твардовский, – свидетельствует о цельности его душевного склада, о скромности и достоинстве, о добром, отзывчивом сердце, не склонном, однако, к сентиментальности, вернее, защищенном от нее врожденным чувством юмора. Личный облик поэта представляется в органическом единстве с его творчеством. И поэтому голос его всегда искренен, даже тогда, когда он служит переходящему, газетно-публицистическому назначению».

Михаил Васильевич всегда ратовал за ясность и простоту стиха. Его напевность и народность. Руководствуясь, очевидно, в своем творчестве наставлением Баратынского. Помните?..

*... Что наконец подсмотрят очи зорки?  
Что наконец поймет надменный ум  
На высоте всех опытов и дум,  
Что? Точный смысл народной поговорки.*

Уважительно относясь к творчеству своих не менее талантливых современников – Бориса Пастернака, Ильи Сельвинского – в присущей Исаковскому мягкой форме, критиковал и открыто с их апологетов усложненных рифм. Подтверждением доброжелательности такой критики может слу-

жить известный факт о соседских и даже дружеских отношениях Исаковского с Пастернаком в бытность их в Чистопольской эвакуации в грозные годы войны.

С особенным трепетом поэт относился к молодым авторам. Одно только то, что Исаковский первым высмотрел в смоленской глуши будущего автора великого «Василия Теркина» говорит о большом педагогическом даре поэта. Его дружеской и наставнической поддержке обязаны и Александр Твардовский, и Константин Ваншенкин, и многие другие талантливые отечественные литераторы.

Исаковский не любил, когда его называли поэтом-песенником. Хотя песен, ставших народными, сочинил порядка полусотни. Нет смысла их перечислять. Это – народная азбука. Если песня застольная – значит, Исаковского («Расцвели яблони и груши...»). Если что-то проникновенное о войне – его же («С берез, неслышен, невесом...»). Если о любви – наверняка Михаила Васильевича («И кто его знает, чего он моргает...»). Если баюкаете малютку, не сомневайтесь: добрейший дядя Миша вновь придет к вам на помощь («Месяц над нашей крышею светит...»).

Мы живем его песнями. Мы ими дышим. Как воздухом. То есть если песни эти от нас отнять – нас не станет. Просто не станет – и все. Как после ядерного удара. Хотя уже и нет той страны, во имя которой жил и творил их автор. Нет тех границ, что обозначали наличие его любимого СССР на карте. И не присутствуют даже в памятниках те руководите-

ли, которым посвящал свои гимны Исаковский. Все равно – лучшая часть этой истории жива. Более того – снаряжена в вечность, которую уже не отменить. К поэтично-песенным символам которой мы будем еще не раз припадать, как к источнику нашей силы.

А может – веры или просто – любви.

*Нет, я не огорчаюсь,  
Напрасно не скорблю,  
Я лишь хожу прощаюсь  
Со всем, что так люблю!  
Хожу, как в годы ранние, –  
Хожу, брожу, смотрю.  
Но только «до свидания!»  
Уже не говорю...*

## «Я, плача, праздную победу...»

В начале 20-х кто-то из литературных критиков предрек «несовременной» в ту (пролеткультовскую) пору Анне Ахматовой обретение современности через поколение, а может, через два. С момента ухода от нас выдающегося поэта-фронтовика, принципиального публициста, отважного правозащитника Николая Панченко смена поколений... и вовсе пошла в обратную.

Кто такой Панченко? Об этом сегодня знают немногие. Евгений Евтушенко в своей поэтической антологии поименовал выходца с калужских окраин, дважды контуженного и тяжелораненого безусого фронтовика, философа от оружейных залпов и бомбежек, исповедника мучеников великой победы, провидца расстреливаемых в войнах юных солдатских сердец, так вот поименовал он его весомо и просто – «преподавателем совести», самой сложной науки из всех постигаемых человеком дисциплин.

Ну, скажите, откуда у 20-летнего бойца, вскормленного на священной ненависти к лютому врагу, такая рвущая сердце боль?..

*– Убей его! – И убиваю,  
хожу, подковами звеня.*

*Я знаю: сердцем убываю.  
Нет вовсе сердца у меня.  
А пули дулом сердца ищут.  
А пули-дуры свищут, свищут.  
А сердца нет,  
приказ – во мне:  
не надо сердца на войне.*

Это – из ставшей уже легендарной «Баллады о расстрелянном сердце». 1944 год. Опубликована будет только в 80-х. Ничего подобного фронтовая поэзия еще не знала. Потому что, видимо, редко была правдива. По понятным причинам. «Он ни черта не боялся, – вспоминал друг поэта, писатель, переводчик, ученый и тоже фронтовик Александр Ревич. – Мальчик, во время войны прошедший все, что можно, он написал войну, увидел будущее и результаты этой войны, он увидел грядущее потерянное поколение в этой самой знаменитой «Балладе о расстрелянном сердце». Расстреливается сердце, как боезапас, и люди обезчеловечиваются. Панченко уже тогда предчувствовал обезнароживание населения России. Собственно, то, что мы сейчас и наблюдаем...»

*Я долго-долго буду чуждым  
Ходить и сердце собирать.  
– Подайте сердца инвалиду!*

*Я землю спас, отвел беду. –  
Я с просьбой этой, как с молитвой,  
живым распятием иду.*

Чуждость распятого сопровождала Николая Панченко неотрывно. Особость, или, как отмечал все тот же Александр Ревич, – «отдельность». И в ранние годы – на фронте, и в средние – в калужской прессе, и в поздние – на столичном литературном олимпе. Не оставила она, эта апостольская отдельность, великого поэтического моралиста и после его смерти. В той же родимой, относительно сытой и самодовольной Калуге ее выдающийся уроженец нынче практически полностью запамятован. Никаких следов пребывания Николая Панченко в городе не отыскать: ни улицы в его честь, ни мемориальных досок на зданиях школы, фасадах редакций и педагогического института, где рос и гранился поэтический алмаз, где затевались Панченко и Кобликовым с благословения Паустовского знаменитые «Тарусские страницы», ни-че-го...

Впрочем, памятная доска на старом здании редакции калужской газеты «Молодой ленинец» несколько лет назад появилась. Но с фамилией другого поэта, не Панченко, а того, кого Николай Васильевич, будучи главным редактором, взял в начале 50-х к себе в штат – Булата Окуджавы. Нет смысла сравнивать силу поэтического дара того и другого, тем более что Панченко и Окуджава оставались друзьями до послед-



них дней. Но все же этот могучий бородач с видом, как выразился Евгений Евтушенко, «то ли православного священника, то ли купца-землепроходца», видимо, и впрямь был из совсем другой литературной весовой категории, а именно – еще не появившейся, а только назревающей мучительно и долго...

Верхне-Дворянская улица, 31. Этот калужский адрес – один из ключевых в биографии Николая Панченко. Это – его родина. На современный лад – улица Суворова. Крупная синяя табличка с номером 31 на одном из домов. Но дом другой, понятно: кирпичная пятиэтажка. Само собой, без внешних поэтических примет. Хотя – и в окружении неких судьбоносных деталей. Скажем, за поворотом в тридцати шагах от дома с номером 31, последнее пристанище печатного детища Николая Панченко – газеты «Молодой ленинец». В 2007 году она (уже под названием «Деловая провинция») здесь же, на родине своего отца-основателя, и умерла, в точно такой же, как и у Панченко «чуждости распятого», пережив неистового главреда ранней послесталинской поры всего на два года.

*Моя последняя черта.*

*Все меньше иноков – по следу:*

*Как ящерица без хвоста,*

*Я, плача, праздную победу.*

Отличительная черта стихов Николая Панченко – будто многие из них высечены из камня. Точнее – каменной рукой из самого себя, из разрываемого болью за победившую страну, израсходованного ненавистью к врагу честного солдатского сердца. «Поэт должен ощущать жизнь содранной кожей», – вспоминал уроки поэтического мастерства Николая Панченко один из самых опытных калужских газетчиков – Алексей Золотин.

*Я не болезнь, я боль твоя, Россия,  
Не праздничная тряпка к ноябрю,  
Но, словно придорожная осина,  
Стыдом твоим горюю и горю...  
...Я – боль твоя.  
И если я умру –  
Тебе ж не поздоровится, Россия...*

Увы, Россия осталась без Николая Панченко. Без боли о себе. Еще хуже – без памяти об этой боли. Вне боли этой оказалась и малая родина поэта. «Увы, Калуга отбросила память о своем лучшем поэте, – сетует старейший калужский журналист Константин Афанасьев. – Он пришелся не ко двору, потому что не был придворным».

Неистового в совестливости Николая Панченко в начале 60-х изгнали из Калуги. С победой изгнали – с изданными и после в страхе порезанными на куски калуж-

ским партначальством тиражами «Тарусских страниц». Выдворили снабженного дружбой с Надеждой Мандельштам, к неудобно нефальшивым воспоминаниям которой он написал философское предисловие, практически годное в программы «партии оттепели». Нет, еще более радикальной – «партии совести», в которой даже штатным «интеллигентам», капитулировавшим перед «цельной идеологией победителей», было не по себе.

Николай Панченко – поэт, писатель, мыслитель, время которого в России пройти не может. Как не может пройти «на выход» и сама страна. В небытие. В беспмятство. В неволь...

# Переулки Пятигорского

Их много, дальних и близких переулков, набралось в судьбе этого премудрого пилигрима, невероятного сочинителя, этакого московско-лондонского Сократа. Скажем, Второй Обыденский, что тек неподалеку от снесенного взрывной волной храма Христа Спасителя. Третий – там же, в замороженной воландовской сталинщиной большой Москве 30-х. Соймоновский проезд, Гоголевский бульвар – опять же по соседству с его родовым гнездом. Или – Джермин-стрит – это уже в Лондоне. Честер-стрит – там же. Были также переулки в Нижнем Тагиле, Сталинграде, Тарту, Париже, Дели, Нью-Йорке и бог знает где еще. Точнее – боги... Их было у однажды забравшегося с головой в древнеиндийскую философию сына московского сталелитейщика немало. А может – ни одного. Александр Пятигорский не чурался интеллектуального эпатажа. Препарирования мыслительного процесса на корню...

«Главное достоинство философии в том, что она никому не нужна», – любил удивлять фирменным парадоксом внимающую публику этот выдающийся русский интеллектуал. Утилитарность мышления решительно отвергал. Результат – вторичен. Главное – интерес. И тут же собственную теорию поверял собственной же практикой. На лекции Пятигорско-

го можно было ходить, как во МХАТ. В самые золотые его годы, когда там царствовали Смоктуновский и Калягин.

Проводник устной культуры философствования Пятигорский лекции не читал, а скорее, их ваял и возводил. Строил и складывал из них замки учений. Самых сложных и невероятных. И, тем не менее, завораживающих своих красотой. А также – доступностью. Впрочем, часто обманчивой. Скажем, после лекций Пятигорского о буддизме захотелось изучить санскрит...

Философский факультет послевоенного МГУ никак не располагал к рождению в нем серьезных философов. Конец 40-х – начало 50-х: мысль – под сапогом, вольнодумства – ноль. А без привычки ходить строем и привычки свободно размышлять философы не рождаются. Но они взяли и родились: *Пятигорский, Мамардашвили, Зиновьев, Левада, Щедровицкий*... Саша прикипел к философскому факультету еще со школы. Сделался завсегдаем его гулких коридоров – вместилища споров будущих русских Сократов. Как, впрочем, и – кузницы их ярых гонителей. Свою знаменитую «Философию одного переулка» (в смысле – Второго Обыденского) Пятигорский вполне мог бы дополнить «Философией одного коридора» (в смысле – университетского). Хотя не исключено, что он ее и написал – неизвестно. Дело в том, что Александр Моисеевич в своей философской беллетристике придерживался неукоснительного правила: выбрасывать последнюю треть написанного произведения...

В 73-м он покинул Россию. В смысле – СССР. В итоге обосновался в Лондоне. В котором и остался: физически, лингвистически, психологически... Изредка, впрочем, Родину навещая. А, по сути, все время нося ее в себе. Поочередно извлекая из своей памяти мысли о прожитом. Точнее – о том, что мыслится об этом самом прожитом. Как мыслится? Почему? Ответы Пятигорский предлагал в виде постановки все новых и новых вопросов.

«Дамы и Господа! – предупреждал философ в одной из самых своих знаменитых работ «Мышление и наблюдение». – Думать о мышлении очень трудно». И далее емко и глубоко доказывал степень этой сложности. Попутно разрабатывая постулаты новой – обсервационной – философии. Как инструмента разработки непечатых мыслительных залежей. Пятигорский в душе был, очевидно, прирожденный старатель...

Хотя свою трудовую деятельность Саша начинал на заводном заводе. Одним из крупнейших в стране – нижнетагильском. Отец будущего философа в военные годы отвечал на нем за металлургическую часть. Слыл отменным спецом. Хотя и – евреем. Антисемитизм давал о себе знать даже в литейном аду. Изредка, правда, затмеваемый достоинствами представителей гонимой нации. Рабочая молва награждала Моисея Гдальевича самыми невероятными мифами. Скажем, умением по запаху определять концентрацию углерода в плавке. Короче, вскоре отец будущего философа занял

преподавательскую должность в МИСиС. Возможно, я его и встречал в бытность мою студентом Института стали...

Пятигорский сочинял сложную прозу. Многим его романы не нравились. Даже – друзьям. Скажем, комментарии к его эпохальной «Философии одного переуллка» можно насчитать куда больше, нежели самих страниц этого спорного произведения. Что хотел сказать автор сказанным? Правдивы ли персонажи или нет? Если правдивы, то – насколько? Если выдуманы, то – в какой степени? Сотни вопросов к нескольку десятку страниц текста. Впрочем, не столько текста – сколько фиксированных вспышек мышления. Подчас – чужого. К тому же отрефлексированного десятки лет назад. А это уже – другая история: мышление о чем-то мышлении или просто повесть о том, что видел. Короче, романы Пятигорского читать нелегко. Философию его постигать тоже непросто. Но – интересно. А это в философии, как учил Александр Моисеевич, главное: ИН-ТЕ-РЕС! Простая такая, незамысловатая формула. Другой, во всяком случае, в настоящей философии не существует...

# Без Надежды

Она так и осталась загадкой. С десяток написанных ею неярких томов. Сотни – не менее тусклых о ней. Тысячи всяких – о том, с кем она прожила жизнь. Тысячи тысяч – о тех, кто эту жизнь испытал на себе. Повытертые фото строгой девушки с длинной косой. Седенькой бабушки – в круглых очках и с назидательно сомкнутыми устами. Масса пединститутов и школ, названных в ее честь (в молодости она преподавала). Портреты, бюсты, мемориальные доски. Памятник на Лубянке – лицом к Сретенскому монастырю, где в 30-е придуманная не без участия ее супруга НКВД томила в заточении остатки непоколеблявшегося духовенства.

Единственное из оставшихся в Калуге упоминаний о жене вождя революции – табличка на 95-й маршрутке. Конечный пункт оной обозначен как «Фабрика им. Крупской». Никакой фабрики на самом деле нет (давно банкрот), направление же в ее сторону не забыто. Так по сию пору и катят калужские пассажиры в направлении давно упраздненного ориентира. Причем по улице имени непосредственного начальника Крупской в Наркомпросе – товарища Луначарского. Таблички с этой фамилией в городе по-прежнему актуальны. Крупской же повыносились совсем...

В очередной версии истории русской революции (будь она



кем-нибудь сочинена) главным героем вполне могла бы стать именно Надежда. А потом уже – ее супруг. Оснований для того достаточно. Скажем, марксистом Надя стала раньше Володи. Зачем, правда, – загадка. Злые языки твердят: чтоб скорее сыскать умного жениха. Что, в общем-то, оправдалось. Впрочем, есть и другая версия: марксизм стал для не очень пылкой и романтичной, хотя и упрямой девушки отдушиной и вместилищем самых сокровенных грез. Или – того, что должно было бы быть на их месте. «Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек, – вспоминала годы первой «влюбленности» в некий книжный образ счастья Надежда Константиновна, – знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь».

Секрет горячей приверженности революционному учению у супругов был, пожалуй, не одинаков. Если Владимира в объятия бородатых ниспровергателей капитализма толкали ненависть к повесившему брата самодержцу, собственный бешеный темперамент, честолюбие и тяга к экстремальным теоретическим экзерсисам, то Надежда, судя по всему, отдавалась новой вере в недостижимую справедливость вполне бескорыстно и от души. Сначала Толстой, а потом Маркс заняли в сердце юной учительницы место церкви, религии, роль которых в ранние годы так старательно высмеивал Надин отец. Да и не только он. Девушка страстно искала веру и, отваженная молиться одному богу, научилась

поклоняться другому. Жажда справедливости не давала ей покоя. Роскошь, праздность, сытость одних и боль, бедность и надрыв других. Жить с этим было невыносимо.

Физический труд и личное самоусовершенствование – вот выход, рассуждала вслед за Толстым Надежда. «Я все стала делать сама по дому, а летом исполняла тяжелую крестьянскую работу, – вспоминала первый «религиозный» опыт постижения благодати справедливого мироустройства Крупская. – Изгнала всякую роскошь из жизни, стала внимательной к людям, терпеливее. Но скоро я поняла, что от этого ничего не меняется, и несправедливые порядки будут продолжать по-прежнему существовать, сколько бы я ни надрылась над работой».

Летний отпуск на природе в деревне проводится с томом «Капитала» в обнимку. Сложная книжка для девушки, но покоряется со второй, третьей попытки. «Благая весть» несется питерским рабочим, в классы. Зерна сомнений падают на подготовленную почву. Ратовать за целостность самодержавия на рубеже веков считалось в просвещенной среде за моветон. В рабочей – тем более. Роль церкви упрощается до некоей сущности, отвечающей, как негодует молодая Крупская, за «всяческую муть».

Аресты не замедлили себя ждать. За ними последовали ссылки. В том числе – и судьбоносные. В далеком Шушенском заключается брак с Володей. Вытачиваются кольца из двух пятак. «Разыгрывается этот балаган» с венчанием.

Избежать его никак нельзя – иначе ссыльным не позволено будет жить вместе. «Ну, что ж – женой так женой», – войдет впоследствии во все канонические книжки о революционной чете меланхолическое признание будущей первой леди.

Семейная жизнь стартовала на одном краю земли – восточном. Продолжилась на противоположном – западном. Эмиграция проглотила революционную чету на полтора десятилетия. Скучная Европа, издание подпольных газет, чтение докладов, переводы с французского, немецкого, английского и – назад, обильная корреспонденция с буйными прогрессистами, нудный семейный быт, велосипедные прогулки в Альпы, хворь матушки, письма свекрови... Мюнхен, Лондон, Женева, Париж – блестящий маршрут русских изгоев. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – нужда политическим пилигримам никогда не грозила.

Надя была неважной хозяйкой. Роль эту возложили на тещу. Кормила заты она. Наде никак не давалась кухонная премудрость. По причине ли опрокинутых кастрюль и битых чашек, а может, по каким иным соображениям первым литературным опытом молодой Крупской стал небольшой трактат под характерным названием «Женщина-работница». О том, сколь тяжек при царизме женский труд. И чтобы его облегчить – от царизма необходимо избавиться. Впрочем, последней идее были подчинены практически все ранние труды Надежды.

Чем больше и чаще писала Крупская, тем строже относи-

лась она ко всему ранее до нее сочиненному. Даже – Платоном сочиненному. Даже – Кантом. Не говоря уже о Марселе Прусте и Михаиле Булгакове. Их Крупская на старости лет предложила запретить. Как уводящих от марксизма. Так же как запутавшегося в «буржуазных рифмах» Чуковского, сражение с «Крокодилом» которого разочарованная стилем писателя Надежда Константиновна затеяла в конце 20-х годов. «Крокодил» временно отступил, но устоял. Крупская же, искренне переживая за литературный вкус подрастающего поколения, так и не смогла членораздельно сформулировать низкосортность будущих детских шлягеров.

Она прожила ровно 70 лет. Скончалась сразу же после шумного юбилея. Многие, конечно, говорили, что ее отравил Сталин. От него был преподнесен аппетитный торт. Впрочем, угощение вскоре реабилитировали. Надежда Константиновна была просто нездорова. Устала. Много перенесла. Много повидала. Много передумала. Много после себя оставила. Но главное унесла с собой – тайну упорного движения до упраздненных ориентиров.

## Из Хоревки – в Тургеневку

– Берите с собой на всякий случай крепкие ботинки, а лучше сапоги, – сразу предупредила меня по телефону ульяновский краевед Александра Черкесова. – Если чуть дождик прыснет – придется до Хоревки идти пешком километров 8–10 по бездорожью...

Но обошлось. Ульяново встретило пронзающей бирюзовое небо краснокирпичной мощью недостроенного еще со времен Первой мировой храма Знамения, тихими улочками, редкими авто и хорошей перспективой не бить ноги к дорогим для любого русского человека тургеневским святыням. Два моста надежной «Нивы», по нашим расчетам, гарантировали успех паломничества в самые непроходимые места.

– М-да, – скептически окинув взором наш служебный транспорт, озабоченно вздохнула Александра. – Сделаем тогда так: свою машину вы оставляете здесь, а дальше поедем на «буханке». Иначе не пройти. Тем более что и водитель наш Григорий Королев – местный, из Хоревки, дорогу туда, пожалуй, только он и сможет указать.

От Ульянова до того места, где лет 170 назад в избе премудрого Хоря гостил Иван Сергеевич Тургенев, – километров тридцать. Из них – с десятков до Крапивны по одиноко странствующему в живописных проседах берез асфальту.

Еще пятток – и мы уже в старинном Чухлове. Народу вокруг – чуть. Даром что район самый большой и малонаселенный в области. Тесноты никакой: хочешь по левую руку километров десять шагай – и тишина, хочешь – по правую, и то же самое – ни звука.

За Афанасовом, бывшим имением купца Цыплакова, «спешились»: асфальт закончился, а с ним – и остатки цивилизации. Дорога едва обозначалась парой беглых лент вдавленного глубоко в землю пепельно-серого ковыля и от последних афанасовских домов упрямо уводила куда-то в неизведанное. Впрочем, неизведанное – более для нас, нежели для спокойно-раздумчивого и умелого водителя с исчезнувшей с лица земли Хоревки.

За последней околицей Григорий предусмотрительно затормозил, спрыгнул из кабины на землю и, зазвенев ключами, быстро подключил передний мост. Оказалось, не напрасно: колея временами разваливалась на широкие промоины, то и дело грозя жадно поглотить все четыре колеса нашего узика. Вместе с мостами.

– То, скорее всего, охотники проезжали, – уверенно крутя баранку и точно втискивая наш узик между густо вставшей вокруг лесной тесниной, пояснял Григорий.

Вскоре дорога вообще перестала давать о себе знать, и лишь чутье нашего многоопытного гида позволяло надеяться на правильно выбираемый путь к намеченной цели. А именно – в гости к тургеневскому Хорю.

Подскакивая на ухабах, точно попкорн на сковородке, и лоя руками поручни в салоне, замороженно слушал по пути еще одного верного хранителя тургеневского духа – Ирину Матвееву:

– У Хоревки история такая. Образовалась она после переселения Родиона Григорьевича Хорева из деревни Крапивна Жиздринского уезда сюда, на болото. Согласно историческим записям Хорь работал у барина Голофеева кучером. Была у него любовь с одной дворовой девкой. К ней и приказчик тоже стал подбиваться. Ну и ударил Хорь этого приказчика своим пудовым кулаком разок, а силища-то у него была немереная... Словом, убил приказчика. Барин рассудил по-своему: «Зачем такого работающего в каторгу отдавать – иди-ка ты со своей разлюбезной на болото. Корчуй, паши там, ставь хозяйство. А поставишь – барину оброк платить будешь».

Короче, летописная версия появления Хоря в том месте, куда мы так отчаянно продирались на уазике, несколько различалась с классической тургеневской, изложенной в рассказе. Что, впрочем, нисколько не умаляло значимости сделанного для прославления русского крестьянства героем литературного шедевра.

«Человек положительный, – набросал в своих «Записках...» портрет идеального калужского земледельца Тургенев, – практический, административная голова, рационалист... Понимал действительность, то есть: обстроился, на-

копил деньжонку, ладил с барином и прочими властями... Расплодил большое семейство, покорное и единомышленное... Говорил мало, посмеивался и разумел про себя... Возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь... Много видел, много знал... Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика...».

Я искоса поглядываю на деловито покручивающего уазиковскую баранку общительного и основательного в действиях хоревского земляка. Прилаживаю к Григорию канонические тургеневские строки. Александра Черкесова, как бы угадывая мои мысли, помогает:

– А они, ульяновские мужики, все у нас такие: степенные, рассудительные, надежные. Если сказал – сделал. Это уже, наверное, у них в крови...

А вот и Хоревка. На самом деле – те же, что и кругом, заросли, трава. Угадывается, правда, линия старых растрескавшихся ветел – бывшая улица да несколько одичавших груш обозначают былое присутствие человека на месте школьного сада. Под грушей – смуглый от времени и дождей дубовый столб с деревянной табличкой наверху. «На этом месте, – гласит вырезанная ножиком на доске надпись, – стояла изба Хоря (рассказ «Хорь и Калиныч») и деревня Хоревка».

Деревянный монумент – все, что хоть как-то напоминает о легендарном калужском мужике, очаровавшем некогда своим трудом и мыслями великого писателя. Появился с легкой руки главного редактора журнала «Муравейник» Нико-



лая Старченко и не без радения ушедшего не так давно от нас великого журналиста Василия Пескова.

– А откуда известно, что именно здесь стояла Хорева изба? – интересуюсь у всезнающего нашего проводника. – Документы, что ли, какие сохранились?

– Да какие там документы! – отмахивается Григорий. – Мне родители сказывали, а им – их родители. Так молва и сохранилась. Да как не здесь, если вот он – пруд, что Хорь вручную с сыновьями лопатой выкопал. А чуть ниже мельница его стояла. Тут все детство мое и протекло...

Григорий незаметно исчезает.

– На усадьбу к себе, наверное, решил наведаться, – перехватывает беспокойный взгляд Александра Михайловна. – Одному ему хочется побыть теперь. Пускай...

Жадно вглядываюсь в одичавшие в буре мелколесья, но не утратившие величавой святости хоревские уголья. Представляю ладный труд преобразивших некогда эти неудобья могучих сыновей Хоря и самого хозяина: статный сосновый двор, изба, навес, скотина, полдюжины лошадей, две мельницы, пруды, «торговлишка» какая-никакая, оброк двукратный и не в тягость, раздумчивость в делах, неспешность и достоинство.

Окрестность крепла производством льна и конопли, промыслами деревянными. Политические встряски наверху толковое хозяйничание тут сразу не нарушили, но обескровливали его пошагово, зато неукоснительно: от войны к войне,

от продрозверствывания к раскулачиванию и далее к голодным трудодням и беспаспортному крепостничеству по-советски.

– Я когда в армию в 80-х отсюда уходил, – вдруг появился из-за лохматого ельника Григорий, – так что-то внутри и екнуло. Когда вернулся, понял, почему: деревни к тому времени уже не стало – все съехали. И здесь, и в деревнях в округе...

Съезжали, как пояснила Ирина Матвеева, слишком второпях, трагически и бесповоротно: подпаливая иной раз собственные дома, дабы хоть как-то «разжиться» деньжатами за счет причитающейся погорельцам государственной страховки. На пути великого исхода встал тридцатилетний лес, и мало что теперь напоминает о бьющей здесь когда-то через край величественной крестьянской доле.

Не обошлось в наш приезд и без маленьких географических открытий. Одно из них мы по совету Александры Черкесовой решили сделать в обратный путь с Хоревки. А именно: подтвердить или опровергнуть версию о том, что затаилось где-то тут поблизости не отмеченное ни на одной карте и не помянутое ни в одном официальном документе малюсенькое селенье под многоговорящим названием Тургеневка. Была ли она на самом деле?

– А как же! – утвердительно кивает в ответ последняя ее жительница 86-летняя Татьяна Андреевна Сибиркина. – Конечно, была.

Бабушку мы отыскивали в соседней Крапивне, куда она 11 лет назад перебралась жить к сыну из близлежащего Чухлова. Так вот, в этом самом Чухлове один «порядок» (так в ульяновских деревнях обычно называют какую-нибудь деревенскую улицу или край села) именовался Тургеневским.

– Почему? – допытываемся мы у Татьяны Андреевны.

– Дед ишо так говорил. Все так говорили... А! Так ведь там Тургенев еще жил.

– Он у кого-то останавливался?

– Нет. Дом, сказывали, у него там был...

Кроме старенькой и полуслепой бабушки Тани, никто, похоже, в округе о единственном на земном шаре селенье, названном в честь автора «Записок охотника», рассказать уже не сможет...

Из потерявшейся в ульяновских лесах тургеневской Хоревки мы покатали дальше – искать пущенные от нее ростки. Не верилось, что могучее крестьянское корневище усохло здесь вчистую, не окропив обширнейшие нивы семенами прежней деловитости...

# Декарт и русский пролетарий

Я научился открывать его на нужной странице без закладки. Угадывал по резкой границе точно бисквитных слоев книжного среза. Замацканное – читано, белое – еще нет. Поворачивал книжку торцом и закопченным ногтем раздвигал щель между разномастьем. Между грязным и остальным. Читанным и непознанным.

У меня полчаса в запасе. Точнее – минут двадцать. Их я потрачу на Рене. Десять – на чай и бутерброд с плавленым сыром вприкуску. Чайник вытащу из металлического шкафа и оботру рукавом спецовки. Он, как всегда, чумазый – в руки не возьмешь. Даже в грязные. Ну и черт с ним – плесну воды в такой. Нашей цеховой, водопроводной.

Она чертовски невкусная, эта наша водица. Я, кстати, уже ею травился. Был две недели на бюллетне. Ходил к инфекционисту. Вы, часом, не были в этом заведении? Я имею в виду инфекционный кабинет... Соскобы, пробирки, то не ешь, это не глотай – умора! Чего они, эти врачи, там думают про нас? Что, теперь в «Метрополе» по их рецептам обед заказывать? Да я уже в литейке такого наглотался: и на первое, и на второе да и на десерт.

Впрочем, мужики наши чаек в перекурах попивают – и ничего. Живые. Наверное, спиртом дезинфицируются. А ес-

ли без спирта, то хуже – тут прямая дорога на соскоб. Говорить, откуда он берется, или сами догадаетесь?.. То-то же. Так что первый вам совет: будете у нас в литейке – ни за что не пейте воду из-под крана.

Но я все-таки выпью. Поставлю закопченный чайник на разогретый муфель печи... Нет, долго ждать. Муфель старый, спирали выгорели, больше 800 не даст. Лучше залью-ка я прежде оболочку и шлепну чайник на раскаленную отливку. Здесь уже за тыщу двести будет.

Вы когда-нибудь разогревали чайник при тысяче двести? Нет? Ну, это примерно так, будто в воду кто-то бросил малюсенькую ядерную бомбу. Вода не кипит, а вспыхивает – разом: оп – и готово. Но у меня действительно мало времени. Индуктор гудит, насос молотит, начальство жмет...

Проженной vareжкой прихватываю распираемый паром закопченный самовар. Кидаю пакетик «Брук Бонда» в кружку, вливаю, жду. Нет, ждать некогда – пью, обжигаясь. Вообще-то я обжигаться привык. Пока раскаленную опоку в печь суешь, ровняешь – колени полымя горят. Я на штаны даже асбестовые заплатки прилаживал. Так и они от пекла за неделю искрашиваются.

Первый урок, помню, напарник мне дал – Саня. Опоку в пару центнеров весом при тысяче ста кран-балкой вошкали: из прокалочной печи – в заливочную. Но это неважно. Главное – чуть не в обнимку с этой полыхающей бочкой тискались. Так я, глупый, часы наручные с металлическим брас-

летом с руки не снял – Саня видел, усмехнулся поначалу, но промолчал. Браслет мигом раскалился, запястье жарит, а снять нельзя – руки заняты, того и гляди эта раскаленная туша на пол грянет. Месяц шрамы зализывал.

*«Если в ряде вещей, подлежащих изучению, встретится какая-либо вещь, которую наш разум не в состоянии достаточно хорошо рассмотреть, тут необходимо остановиться и не изучать другие вещи, следующие за ней, а воздержаться от ненужного труда».*

*Рене Декарт.*

Ладно – перекур... Я вообще-то не курю, но если вам так хочется – пожалуйста. А пока я расскажу, как нас с Рене на проходной вахтерша сцапала. Едкая такая тетка, крашенная, будто в гудрон башкой ныряла, надменная вся. Нас, работяг, лютой ненавистью не любит. Хотя они ее как раз-то и кормят – за каждого разоблаченного с душком или с выпивкой ей премия хорошая кладется. Как потом признался ихний комиссар, самая передовая – шмонает нашего брата только так. Нажилась.

– Это что у тебя? – тычет, значит, перламутровым ногтем в Рене.

Кроме него – ничего со мной нет интересного: ну, бутеры в пакете, апельсин, ручка...

– Рене, – отвечаю, – Декарт. Если угодно по-латыни – Картезий.

– А зачем?

– Мы с ним работаем.

– Не положено, – как ножом отрезала. – К технологическому процессу отношения не имеет.

Слыхал, Рене? Не имеешь, говорит, никакого отношения ты к нам – и баста. А я думал: имеешь. Пошел спросить у главного заводского начальника по пропускам через вертушку: можно с Рене Декартом на завод или нельзя?

Сидит, значит, такой правильный весь в уютненьком кабинете напротив Самого и с кем-то по телефону веники банные обсуждает.

– Петрович, как всегда, в четверг в семь часов на Зеленый Крупец подкатишь?

И в мою сторону:

– Что нужно?

– Я про Рене хотел спросить. Я с ним шел, а меня на проходной не пустили.

– Ну. – Не выпуская трубку из рук и продолжая набирать очередного Петровича, раздраженно ждет, когда я выметусь вон.

– На проходной сказали, что не имеет Рене Декарт к производственному процессу никакого отношения.

– Ну и... – Постоянно сбиваясь с нужной цифры на телефоне и плохо понимая, о чем я, начинает беситься начальник вахт.

– Ну как же не имеет? – пытаюсь переключить того с веников на нужную волну. А про себя прикидываю...

*«Если мы не вполне понимаем вопрос, его надо освободить от любого излишнего представления, свести к простейшему вопросу...»*

*Рене Декарт.*

– Вот, скажем, вы – мусульманин...

– Какой еще мусульманин? – уже бросая в отчаянии трубку, наконец, зло оборачивается ко мне высокий зам.

– Ну, правоверный такой, и постоянно носите с собой Коран, – пытаюсь по мере сил упростить ситуацию. – На работе он с вами, этот Коран, дома, в поездках. Потому что вы верите и читать должны его каждый день. Вы без него не можете. Вас без него просто нет: ни дома, ни на работе. Так вот, представьте, что вы идете на работу, а у вас его изымают. Почему, спрашиваете...

Заввахт ни о чем таком вообще-то спрашивать не хотел. На последнем терпении ждет, когда я исчезну.

– Так вот, – продолжаю терзать высокопоставленного бедолагу, – резонный вопрос: имеет ли в данном случае Коран отношение к производственному процессу?

Тот обреченно смотрит на настенные часы. Прикидывает, видно, что конец рабочего дня, звонить друзьям насчет бани поздно. Перестает теревить телефонный аппарат. Занимает руки переключением на столе какой-то писанины. Смотрит в экран компьютера. Делает важный вид. Через минуту, отдуваясь:

– Ладно, разберусь.



Вообще-то по начальникам я, честно признаться, не ходонок. К этому так забрел – посмотреть, что за птица. Обычный такой, гладкий, джип у проходной, костюмчик, амбре вокруг и все такое. Где надо – с гонором, где гонор ни к чему – с почтением. Сам испытал. Не верите?

Тут как-то генеральный приказ издал: мол, дабы перестать завод растаскивать и время рабочее зря не перекуривать, всем передвигаться по территории строго по указанным маршрутам, поминутно отмечаться карточкой в электронной пикалке: из цеха – приложись, в цех – приложись. Короче, чтоб у меня – ни шагу.

Подумал: я вроде завод не растаскиваю, время рабочее не транжирую, а цидуля вроде как и на меня такого-сякого нацелена. Запереживал. Обидно просто стало. Достал из шкафа грамоту, подписанную как-то руководством: мол, за успехи в труде и все такое. Наложил на приказ, что и меня, получается, казнит за нарушения. И переслал через канцелярию Самому. Мол, в таком случае спасибо, возвращаю.

Через два дня прилетел. Тот – «с вениками». Гляжу, джип под окнами цеха красуется. В кабинет завели. Беседуют. Мол, как же так, нехорошо получается: грамоту директор дал, а ты ее обратно пинаешь. Мы же как лучше хотели. Чтоб не воровать и не прогуливать – пикалки ввели.

– Но я же не ворую, – объясняю, – вот доказательство: подпись на грамоте главного руководителя.

– Но это же образно, – волнуется мой «с вениками». – По-

рядок такой – для всех. Не воруеть – и хорошо...

Честно скажу, я еще долго изводил начальника вахт своими рассказами на тему «что такое хорошо...». У меня как раз муфель в печи электрики ремонтировали. Простой. Бездельничанье, значит. Вот я перед замгенерального и разболтался. Думаю, простит. А впрочем – все равно.

*«Не подумайте, однако, что, бездельничая, я теряю напрасно все свое время. Больше того, никогда еще я не проводил его с такой пользой, как сейчас, но главным образом в отношении вещей, которые ваш разум с точки зрения своих более возвышенных занятий будет, без сомнения, презирать...»*

*Рене Декарт.*

# Кёнигсберг

Свобода воли, бессмертие души и бытие Бога – вот три главные цели наших разумений. Это – из Канта... Судя по всему, он выхаживал свою «Критику чистого разума» по тем же улицам, по которым нас, замотанных в шарфы и обутых в резиновые боты, возили на автобусе «Золотая рыбка» в далекий детский сад. Иногда «Золотую рыбку» заменяли на другой – «Семь гномов». Видимо, для уравнивания западной и восточной культур в этом самом нехарактерном для обеих частей света приморском анклав.

Философ никогда не покидал свой (а после – наш) промозглый Кенигсберг. Разве что немного поколесил в молодости по пригородам в поисках учительского приработка. А так – постоянно держал в поле зрения величественные стены кафедрального собора на омываемом Преголью Кнайпхофе. А также – могучие башни Королевского замка – наследия тевтонских вре- мен – поблизости.

В первом Кант нашел свой вечный покой. Настолько вечный, что его не смогла нарушить даже тотальная бомбардировка англичанами всего и вся в 1944 году. Она превратила Кенигсберг примерно в то же самое, во что американская – не менее величественный Дрезден. Королевский же замок пережил Канта несколько больше и пал от рук уже не англи-

чан, а первого секретаря Калининградского обкома партии товарища Коновалова. Я впитал эту фамилию с детского сада. Канта не знал, а Коновалова, надо же, помню. Тот повелел в конце 60-х взорвать недорубленные английскими асами могучие руины. Этим, собственно, и прославился.

Помню, как отец, служивший ту пору в танковых войсках, глубоко сокрушался: мол, до чего крепко клали стены эти немцы – взрывчатка не брала. Поэтому советским танкистам приказали буксировать гигантские обломки на тросах чуть не за город. Это была одна из самых ответственных военных операций Западного военного округа тех времен. Конечно, после ненужного похода в 1968 году на Прагу.

Из него батальон отца вернулся на родину великого философа без потерь. Причем – ни с той, ни с другой стороны. Этим обстоятельством отец очень гордился. Думаю, тому же самому порадовался бы и Кант, заявивший задолго до главных аморальностей XX века, что «конечной целью мудро пекущейся о нас природы при устройстве нашего разума служит, собственно, лишь моральное». Впрочем, «Критику чистого разума» в дислоцирующихся в городе имени всесоюзного старосты танковых частях в ту пору не изучали.

Думаю, не изучают и сейчас. Ибо танкисты – чаще всего материалисты. Доверяют броне и киловаттам тяги. Но – не трансцендентальной эстетике. Та устами кенигсберского мудреца указала краугольным и грубоватым на вкус пространству и времени свое место: не в фундаменте всей мате-

рии, а лишь в прихожей Вселенной. Всего лишь в качестве формы чувственного созерцания человеком мира вокруг.

Оскорбление приверженцев вульгарного материализма получило искупление возвеличиванием приверженцев возвышенного идеализма. Грубая наличность в трудах Канта была поставлена под начало морали. Та гигантским интеллектуальным усилием самого знаменитого из «калининградцев» была выведена из сонма человеческих разумений. Казалось бы неподдающихся до этого никакому целеполаганию. Ан нет, после 40-летних изысканий указал на правильный ответ кенигсбергский отшельник: цель разума обнаружена. Это – мораль. Она не выводится из опыта. Она априорно заложена в разуме человека. Идеалист, да и только...

«Теперь ты понял, что мир материален!» – красовалась после взятия Кенигсберга над могилой философа уверенная размашистая надпись по-русски чем-то черным. Наверно – углем. Маленький Кант промолчал. Не ответил он и на более ранний выпад в свой адрес. Скажем так, несколько более деликатный. Но, тем не менее, колкий и несколько пародийный, и тоже по-русски, но уже установленного авторства – Александра Блока:

*Сижу за ширмой. У меня  
Такие крохотные ножки...  
Такие ручки у меня,  
Такое темное окошко...  
Тепло и темно. Я гашиу*

*Свечу, которую приносят,  
Но благодарность приношу...  
Меня давно развлечься просят,  
Но эти ручки... Я влюблен  
В мою морщинистую кожу...  
Могу увидеть сладкий сон,  
Но я себя не потревожу...*

Кант и в самом деле не любил полемики. Ни с современниками, ни, тем более, – с потомками. Первых, считаю, что терпел. Над вторыми (даже в ореоле классиков), думаю, бы сжалился. Ибо со временем величие этой маленькой фигуры только нарастает. И фора, данная Кантом будущему поколению, отнюдь не уменьшается. Ни интеллектуальная фора, ни, тем более, моральная... «Такие крохотные ножки, такие крохотные ручки...» Нет, фора еще очень велика...

Последний раз я навещал могилу Канта в далеком 1980 году. Сделал фото, которые потерял. С тех пор не был: ни на родине его снов, ни на родине моего детства – на Моцартштрассе, то бишь, улице Репина, откуда я пошел в первый класс. Где на первом же уроке горько заплакал: то ли от страха перед неизведанным и пугающим своим могуществом миром знаний, то ли от предчувствия надвигающихся встреч с самыми строгими и бескомпромиссными его обитателями.